Часть вторая

I

Настала дождливая зеленая весна, и немецкие войска хлынули в Болгарию. С утра до ночи па софийских улицах не смолкал грохот моторизованных колонн, проходящих на юг. Одна за другой возникали они в утреннем тумане, поблескивая омытой дождем серой броней, ощетинившись стволами зенитных орудий и пулеметов. Сизый дым моторов окутывал их прозрачной пеленой, сквозь которую проступали кабалистические и дикарские эмблемы дивизий: черепа, дикие козы, бегущие зайцы, орлы с распростертыми крыльями. Время от времени колонны останавливались на отдых, и тогда из танков, гусеничных тягачей и грузовиков высовывались головы солдат с водянисто-голубыми глазами, смотревшими холодно и бесстрастно. Челюсти их неторопливо двигались, пережевывая ветчину и колбасу. То были отборные мотомехчасти, роботы, сеющие смерть и разрушение. Народ смотрел на них с безмолвной тревогой.

Затем прошла моторизованная пехота, составленная из гитлеровской молодежи, – кровожадные белобрысые звереныши, которые, не познав еще радостей жизни, уже научились убивать и умирать. За ними потянулись колонны простой пехоты, набранной из тевтонских плебеев – крестьян и рабочих, чьи места па полях и фабриках заняли пленные. Эти солдаты не отличались ни молодцеватостью, ни воодушевлением. Рослые пожилые мужчины тяжело ступали отекшими от долгой ходьбы ногами. Они безучастно слушали шумные выкрики зевак, и их грубые лица казались задумчивыми. Это были простые, видавшие жизнь люди, которым вовсе не хотелось бросаться очертя голову в огонь за интересы концернов; но, скованные дисциплиной, они не решались задать себе вопрос: зачем их пригнали сюда? Их усталый вид и молчаливость вызывали сочувствие. Во время привалов эссенский рабочий прохаживался по тротуару, взяв за руку болгарского ребенка. Длинноусый померанский крестьянин, с тоской поглядывая на зеленеющую траву и почки на деревьях, вспоминал о собственном поле. Затем они снова вскидывали винтовки на плечи, поправляли каски и молча продолжали свой медленный и тягостный поход на юг.

Дней через десять туманы рассеялись, и столица потонула в яркой буйной зелени. Никогда еще София не казалась такой беззаботной и легкомысленной. Кафе-кондитерские и рестораны были переполнены элегантной публикой. По улицам проносились лимузины, в которых сидели красивые женщины и надменные мужчины, мелькали немецкие мотоциклисты в касках и мчались немецкие и болгарские штабные автомобили. По вечерам веселье начиналось в закусочных и продолжалось в кабаре и притонах. Опьяненные своей хитростью, лавочники хлопали немцев по плечу и пили за здоровье его величества, который так ловко втравил немцев в драку за Фракию и Македонию. Под утро все умолкали, устав от собственных криков, веселья и безумия. Оторванный от родного очага, немецкий солдат угрюмо вел под руку уличную женщину к ближайшей гостинице; молчаливые ночные рабочие поливали мостовую водой из шлангов; в тишине были слышны шаги одинокого полицейского. Возле трамвайной остановки изнуренная ночным дежурством телефонистка жаловалась на низкую заработную плату, бедно одетый пенсионер сетовал на растущую дороговизну.

Пока немецкие дивизии двигались на юг, табачные магнаты развивали лихорадочную деятельность. Основывались скороспелые акционерные общества. Дельцы, ничего не понимавшие в табаке, становились германофилами, регистрировали новые фирмы, заключали договоры и получали ссуды от Германского папиросного концерна. Почтенные офицеры запаса, которым раньше и в голову не приходило заниматься торговлей, теперь тоже заразились табачной лихорадкой. Они доставали свои преданные забвению, залежавшиеся с первой мировой войны немецкие ордена и просили друзей замолвить словечко фон Гайеру насчет их прошлых заслуг и честности. Впрочем, некоторые из этих людишек были и вправду честными. Они не умели воровать и лгать, как не умели торговать, но вместо них крали и лгали нанятые в старых фирмах полуграмотные мастера, которых на скорую руку производили в чин экспертов. Баташский вместе с одним генералом запаса основал небольшую, но преуспевающую табачную фирму. Бывший мастер «Никотианы» купил себе автомобиль, обзавелся содержанкой и отдал детей в немецкую школу, но всеобщие насмешки скоро убедили его в том, что он сел не в свои сани. Он, как и прежде, чувствовал себя свободно только в маленькой кофейне родного городка да в вонючих деревенских корчмах, где надувал крестьян. Там он оставался непревзойденным мастером мелкого мошенничества, торговцем, который не знал соперников. Вот почему ему всегда удавалось скупать по дешевке большие партии табака.

«Никотиана» тоже приготовилась к походу на Беломорье. Совместно с другими крупными фирмами она заставила правительство принять постановление, согласно которому государство брало на себя весь риск по закупкам табака в этой местности. Таким образом, господа Морен, Барутчиев и прочие застраховались от возможных убытков, обеспечив себе верную прибыль. В случае, если бы Фракия осталась под властью другой державы, государство обязывалось – неизвестно почему – выплатить фирмам стоимость закупленного, но не вывезенного табака.

– Это будет великолепный удар, – сказал Борис однажды вечером в Чамкорни.

– Какой удар?… – рассеянно спросила Ирина.

Она бросила на него усталый взгляд – день, проведенный с фон Гайером и бывшим майором Фришмутом, утомил ее.

Моложавое, свежее лицо Бориса поблекло. Дряблая кожа, морщинки вокруг рта и мешки под глазами говорили о том, что он преждевременно стареет от постоянного переутомления и злоупотребления коньяком. Ирина равнодушно подумала, что не пройдет и нескольких лет, как он утратит свою привлекательность и станет неприятным как мужчина.

– Ты никогда не слушаешь, что я тебе говорю, – сказал он с досадой. – Только и интересуешься что удовольствиями.

– А о чем ты говорил? – спросила она, отыскивая детективный роман, который собиралась почитать перед сном.

– Я говорю, хорошо бы закупить перед концом войны большую партию табака нового урожая в Беломорье…

– С чего ты взял, что Фракия останется нашей?

– Так будет, пока Германия держится… Это нам твердо обещали немцы. Представь себе, что получится, если я успею вывезти табак в Болгарию и бросить его на мировой рынок в такое время, когда все и каждый гоняются за табаком!.. После войн спрос на табак неизменно увеличивается. Все это рискованно, но я люблю риск.

– Ну, а что будет, если нас оккупируют греки? – возразила Ирина, не скрывая раздражения. – Они не только увезут обратно свой табак, но заодно прихватят и наш… Тогда от твоего азарта и следа не останется.

– Греки и сербы никогда нас не оккупируют, – возразил Борис – Их армии будут уничтожены еще этой весной.

– Ты так думаешь?

– Нас оккупируют англичане, а они уважают частную собственность.

– А тебе но кажется, что нас могут оккупировать русские?

– Русские? – Борис рассмеялся. – Сегодня ты своим пессимизмом произвела впечатление даже на такого тупицу, как Фришмут!.. Англичане ведут дело к тому, чтобы Германия и Советский Союз перемололи друг друга.

– А ты разве не слышал, что сказал фон Гайер после того, как Фришмут наговорил глупостей? Он считает, война еще не начиналась. Настоящая война для немцев начнется лишь тогда, когда они двинутся на восток.

– Россию они раздавят за три месяца. Но после этого и немецкая и советская армии перестанут существовать.

Ирина нашла наконец детективный роман и, взяв его, собралась идти в свою комнату. Навязчивый оптимизм Бориса стал ее раздражать. Жизнь со всеми ее наслаждениями проходила мимо него, а он с тупым и мрачным упорством дряхлеющего не по годам скряги вцепился в свое золото, считая, что нет силы, которая могла бы отнять у пего богатство.

– Ты неплохо управляешь событиями, – равнодушно заметила она.

– А ты что думаешь обо всем этом?

– Я ничего не думаю. Мне все равно.

Она лениво зевнула и направилась в свою комнату, даже не пожелав ему спокойной ночи. Судя по всему, алкоголь и неразумный, слишком напряженный образ жизни вытравили его прежнюю проницательность. Даже в торговых делах, в которых когда-то его мозг работал безупречно, Борис теперь стал проявлять слабость, нерешительность и трусость. И Ирина, замечая, как он сдает, испытывала какое-то мстительное злорадство. Она ненавидела его глубокой, смутной, безотчетной ненавистью, ненавидела его алчность, жестокость, умственную ограниченность, полную неспособность пользоваться накопленными благами. Так же глубоко она ненавидела его за то, что он сделал ее своей соучастницей, отравил ей душу, убил в ней радость жизни; а ведь она когда-то любила жизнь! Вот почему, войдя к себе в комнату, она с чувством облегчепия вспомнила о скорой встрече с фон Гайером, который уже стал ее любовником.

Ирина разделась, взяла детективный роман и, прочитав несколько глав, заснула. На рассвете она проснулась. Стекла в окнах дрожали от глухого непрерывного шума. Казалось, приближается буря, но Ирина не услышала знакомого свиста ветра. Чувствуя какое-то непонятное возбуждение, она поднялась и открыла окно. Светало, заря только занималась, и на ее бледном фоне четко выделялись верхушки сосен. Ветра не было, и пи одна ветка не колыхалась. Звезды еще блестели холодным блеском па кристально чистом небе. Вокруг виллы царила полная тишина, но откуда-то издалека доносился глухой шум. Он напоминал рев бури в горах – рев, с которым смешивалось протяжное эхо громовых раскатов. Грохот доносился откуда-то из-за гор, зловеще прокатываясь над вершинами, ущельями и долинами. Ирина догадалась, что взрываются бомбы, сброшенные с самолетов, и грохот их сливается с трескотней пулеметов и залпами тяжелых орудий, которые громят укрепления. До греческой границы было не более двухсот километров по прямой. Поход к Эгейскому морю начался. И тут Ирина содрогнулась от смутного ужаса пород кровавыми руками, которые правят миром.

На пасху Борис уехал в родной городок, к родителям, а Ирина воспользовалась его отъездом, чтобы пригласить к обеду Лихтенфельда и фон Гайера, которых он в последнее время стал недолюбливать. Однако она вызвалась остаться на дежурство в больнице в ночь с первого на второй день пасхи – это должно было показать Борису, что у нее нет намерения развлекаться в его отсутствие. И наконец, чтобы выказать свое хорошее отношение к союзникам, она попросила Лихтенфельда и фон Гайера привести с собой по одному немецкому солдату или офицеру.

Фон Гайер привел нудного майора Фришмута (который уже стал полковником), а Лихтенфельд оказался более находчивым и приятно удивил Ирину, пригласив своего кузена – поручика танковых войск Ценкера. Незадолго до их прихода фон Гайер прислал ей на своей машине четыре букета орхидей.

За обедом общим вниманием завладел поручик Ценкер, который привез из Германии свежие новости. Молодой офицер оказался приятным, интересным собеседником и даже острил, насколько это было возможно в присутствии полковника. Он рассказывал анекдоты – вполне приличные – и рассмешил Ирину. В бронзовом цвете его лица, в синих глазах и зеленоватой форме было что-то до того немецкое, что Ирина подумала: «А может быть, расовая теория не лишена оснований?» Но семитская с орлиным носом физиономия полковника Фришмута и его черная шевелюра доказывали обратное. Глядя на полковника, Ирина вспомнила своего знакомого врача-еврея; у того было типично арийское лицо. Все это настроило ее на шутливый лад, и она смотрела на молодого офицера с улыбкой. Однако она не могла побороть жгучего трепета, который охватывал ее всякий раз, как она встречалась с его дерзкими смеющимися глазами. Но скоро Ценкер умолк, смущенный своей болтливостью и строгими взглядами кузена, который успел внушить ему, что Ирина – вино только для высокого начальства. Настроение за столом упало. Поручик виновато и с опаской поглядывал на фон Гайера, а фон Гайер молча доедал десерт. Лихтенфельд погрузился в мрачные размышления, навеянные слухами о том, что мобилизации будут подлежать и старшие возрасты. Фришмут попытался оживить разговор и начал задавать Ирине вопросы – один скучнее другого – о состоянии медицинской службы в Болгарии. Как всегда, он расспрашивал подробно и придирчиво, отмечая каждую мелочь в своей бездонной памяти генштабиста.

– Почему вы так интересуетесь медицинской службой? – спросил фон Гайер.

– Я обязан интересоваться всем, – ответил полковник. – Только так могу я оценить военный потенциал нации.

Возбужденный хорошим вином, полковник был далек от мысли, что он становится в тягость своим учтивым собеседникам. К тому же Ирина умелыми вопросами поощряла его разговорчивость. Полковник увлекся и уверенным тоном стал высказывать свои предположения относительно исхода войны. Военная мощь нации, говорил он, складывается из ряда факторов, что блестяще продемонстрировал немецкий народ. Военные операции развиваются с математической точностью. Все в этой войне предусмотрено до мельчайших подробностей. Полковник генерального штаба Фришмут перечислял, цитировал, обобщал и выводил заключения. В конце концов даже деревяшке должно было стать ясно, что немцы победят непременно. Смакуя каждую мелочь, полковник продолжал говорить ровным голосом, звучавшим, как мерный стук машины. Он незаметно овладел вниманием хозяйки, Ценкера и даже тревожно-рассеянного Лихтенфельда. Только фон Гайер слушал его, угрюмо наклонив голову, неподвижный и хмурый. Он молчал, словно хотел показать, что не намерен участвовать в пустой болтовне за столом. Полковник Фришмут был одного с ним выпуска и в военном училище славился феноменальной памятью и редким трудолюбием. Но еще тогда Фришмут производил на фон Гайера гнетущее впечатление. Правда, у него была отличная аттестация, но он всегда напоминал счетную машину.

И сейчас фон Гайер с гневом и отчаянием думал, что в каждом немецком штабе торчит такая счетная машина. Все они стучат послушно и бесстрастно, неспособные, как и любая машина, оценить в войне политические факторы, которые не укладываются в рамки статистики и расчетов. Что-то жуткое было в убогости их механического рассудка, к их одуряющем автоматизме и необычайной быстроте, с какой они продвигались по службе. Фон Гайер знал, что немецкий генеральный штаб состоит уже только из таких вот покорных счетных машин и но терпит в своей среде никого, кто осмеливается высказать хотя бы малейшее сомнение в успехе предстоящего похода на восток.

– Нас очень беспокоят действия Советского Союза, – сказала Ирина.

– Все предусмотрено! – поспешил заверить ее полковник. Он ел, как еж, дробя пищу мелкими, торопливыми Движениями челюстей. – Германия еще не развернула свои громадные резервы.

Лихтенфельд вздрогнул, словно от боли. В резервах числился и он.

После кофе поручик Ценкер собрался уходить. Он почувствовал себя лишним в беседе этих пожилых мужчин. Фришмут снова завладел общим вниманием. Теперь он педантично пополнял свои сведения о торговле табаком.

– Почему вы уходите так рано? – спросила Ирина, поднимаясь вслед за Ценкером.

– Надо проверить солдат, – ответил поручик, улыбкой давая ей понять, что ему не хочется уходить. – Сегодня они получили много вина.

– Ну и что же?

– Боюсь, как бы они не выпили лишнего.

Ирина вышла в переднюю, чтобы его проводить. Когда она вернулась, от фон Гайера не ускользнул возбужденный блеск ее глаз.

Поручик спустился с лестницы, весело напевая какую-то песенку. Как только он вышел на улицу и ступил на тротуар, до него донеслись глухие взрывы, раздавшиеся один за другим. Опытным ухом он сразу различил близкие разрывы бомб. «Наверное, учения», – рассеянно подумал он. Но ведь была пасха, и болгары вряд ли стали бы заниматься учебными бомбардировками в праздник. Через пять минут несколько «мессершмиттов» с быстротой метеоров пересекли синее небо. Ценкер лениво сел в такси и велел шоферу ехать за город, где в укрытии стояли его танки. По дороге он не заметил ничего особенного, если не считать трех военных санитарных машин, которые мчались на предельной скорости и быстро обогнали такси.

На окраине города он увидел несколько лачуг, окутанных дымом, и солдат, которые вытаскивали из них трупы. Поручик Ценкер удивился: «Воздушное нападение без воздушной тревоги!» Он вышел из такси и, минуя разрушенные домишки, бросился к редкому перелеску, где были укрыты его танки. Фельдфебель считал гильзы, оставшиеся от стрельбы из зенитного пулемета. Ценкер вздохнул с облегчением. И танки, и люди его были целы и невредимы. Тогда он закурил сигарету и снова принялся напевать свою веселую песенку. После Варшавы обгоревшие трупы не производили на него никакого впечатления. Докурив сигарету, он вызвал фельдфебеля и сказал:

– Мюллер! Я снова отправляюсь в город. Смотрите, чтобы все было в порядке.

Сказал и усмехнулся. Мюллер тоже усмехнулся, догадавшись, что поручик едет к женщине.

Вечером того же дня невеселые мысли и тяжелые подозрения опять привели фон Гайера к Ирине. Ему открыла горничная – старая дева в белом переднике, с изрытым оспой лицом. Эту молчаливую и неприветливую особу Ирина раздобыла где-то в клинике. Пока горничная сердито убирала его шляпу и плащ, немец спросил, не возвращался ли сюда кто-нибудь из тех господ, что здесь обедали сегодня.

– Не знаю, – ответила горничная. – Я уходила за покупками.

Фон Гайер подумал, что Ирина нашла себе именно такую служанку, какая ей нужна.

Ирина встретила его в передней. Она переоделась – сменила платье, в котором обедала, на костюм, который всегда надевала, уходя в больницу. Элегантный и хорошо сшитый, он все же казался немного поношенным на фоне окружающего ее блеска.

– Раньше вы никогда не приходили без предупреждения, – сказала она с упреком. – Сегодня я дежурю в больнице.

– В таком случае я ни на минуту вас не задержу.

Фон Гайер вздохнул с облегчением. Он думал, что застанет у Ирины Ценкера, только потому и пришел.

– Нот, останьтесь!.. – Голос Ирины звучал сердечно, но фон Гайер не мог понять, искренна она или притворяется. – Я постараюсь освободиться.

Немец, ставивший служебные обязанности превыше всего, спросил удивленно:

– Каким образом?

– Просто попрошу кого-нибудь из коллег заменить меня.

– Это не совсем удобно… А я думал, что вы свободны, и попросил Костова и Лихтенфельда тоже зайти к вам. Хотелось поиграть в бридж.

– Мне самой не хочется ехать в больницу.

Ирина по телефону попросила своего коллегу подежурить вместо нее. Тот сразу же согласился. Это был неглупый, предусмотрительный юноша, знавший, как велико влияние дам из высшего общества на главного врача клиники.

– Все улажено, – сказала она, вешая трубку.

Но, отходя от телефона, она почувствовала, что ее поведение даже в мелочах становится все более легкомысленным и беспринципным. Она злоупотребляла безропотностью своего коллеги, тешилась игрой в специализацию, ничего не читала. Медицина служила ей только ширмой, за которой скрывалась распущенная жизнь, бесцельное существование содержанки миллионера. Однако она тут же отогнала эти мысли. У нее выработалась привычка быстро подавлять угрызения совести, которые она еще испытывала, когда совершала мелкие подлости по отношению к зависимым людям. Она села в кресло и закурила.

– Мы вам не надоели сегодня? – спросил немец. – Больше не буду приводить к вам гостей.

– Фришмут трещит, как мельница, – заметила Ирина.

– Таким он был и в военном училище. Мы одного выпуска.

– Значит, вы тоже были бы полковником?

– Или генералом. Но вместо этого я стал директором концерна.

– И вы об этом жалеете?

– Нет. Останься я в армии, я уподобился бы Ценкеру и Фришмуту. А если нет, меня бы уволили.

Ирина улыбнулась.

– Почему вы смеетесь? – спросил он.

– Потому что начинаю все больше походить на вас. Я уже свыкаюсь с мыслью, что все, что я делаю, хорошо.

– Вы должны быть в этом уверены.

Ирина взглянула на него и подумала, что перед нею сидит такой же извращенный, холодный и жестокий человек, как она сама. Он равнодушно относится к любой подлости, идет на любые компромиссы, но не хочет в этом сознаться и ищет спасения от бессмысленности своего мира в наркозе музыки и формулах философии. Он с горечью мечтает о величии Германии, хоть и уверен в ее поражении, говорит о достоинстве сверхчеловека, а сам трепещет перед агентами гестапо, считает себя проницательным, но не догадался, что она, Ирина, изменила ему с Ценкером. В нем было что-то трагическое и смешное. Ирине стало жаль его, и она сказала:

– Я не могу быть такой же уверенной, как вы… Я пришла в ваш мир из низов и потому больше ощущаю действительность.

– Да, – поспешно согласился он. – Но в этом ваша ошибка. Ни добра, ни зла не существует. Нет другой действительности, кроме той, которую создает сам человек.

– Это удобная, но бесполезная точка зрения, – возразила она.

– Почему?

– Потому что даже вы не верите в это.

Фон Гайер задумался, пытаясь объяснить ее настроение событиями истекшего дня. Но, перебирая в уме все возможные объяснения, он упустил из виду самое простое – что Ценкер ушел совсем недавно. Он не догадывался и не мог догадаться, что свидание с молодым офицером вызвало у Ирины тоску и отвращение, которые она старалась побороть.

Немного погодя пришел встревоженный Лихтенфельд и рассказал неприятную новость: самолеты противника напали врасплох на привокзальный район, болгарская противовоздушная оборона приняла самолеты за немецкие, а истребители опоздали подняться в воздух. Барон говорил обо всем этом очень взволнованным голосом.

– Где вы оставили машину? – спросил он своего шефа.

– Я пришел пешком, – ответил фон Гайер.

– Пешком?… – удивился барон.

Это показалось ему верхом безрассудства. Как решился хромой человек отправиться в гости пешком, когда каждую минуту могли объявить воздушную тревогу? И Лихтенфельд мысленно похвалил себя за предусмотрительность – его автомобиль стоял у подъезда и при первых же звуках сирен мог отвезти всю компанию в боннскую виллу.

– Да, пешком, – проворчал фон Гайер, заметив, что барон напуган. – Я рассчитываю на вашу машину.

Он выразительно взглянул на барона, словно хотел сказать: «Сначала отвезешь меня домой, а потом будешь болтаться по кабакам». А барон мысленно ответил: «Сегодня пасха, и все кабаки закрыты».

– Я бы с удовольствием выпил рюмку коньяку, – обратился он к Ирине.

– И я тоже, – сказала она и достала из буфета бутылку и три рюмки. – Хотите поужинать у меня?

Лихтенфельд вопросительно посмотрел на своего шефа. Решение зависело от фон Гайера, но бывший летчик внимательно прислушивался к чему-то и ничего не ответил.

Откуда-то издалека доносился высокий, пронзительный вой, который постепенно нарастал, уподобляясь свисту ветра в опустевшем доме. Достигнув предела, вой стал волнообразно спадать, затем снова усилился, и теперь уже ему вторили здесь и там другие, столь же зловещие и грозные металлические голоса. Десятки, сотни сирен предупреждали город о смертельной опасности. Их завыванье сливалось в нестройный, режущий ухо аккорд, который вселял в душу растерянность и ужас. В этом вое, похожем на рев допотопных чудовищ, было что-то варварское, грозившее поглотить цивилизацию, что-то первобытное и жестокое, отбрасывавшее жизнь назад, к хаосу, превращавшее разум и волю в животный инстинкт самосохранения. Ирина и фон Гайер замерли, но лишь па несколько мгновений, а Лихтенфельд, не обладавший подобной выдержкой, был глубоко потрясен и долго не мог успокоиться. Барон живо представил себе смерть в виде обломков бетона и искореженного железа, которые придавливают его тело. В смятении он чуть было не бросился к автомобилю, чтобы скорее бежать из города. Однако не двинулся с места, только побледнел и хрипло пробормотал:

– Воздушная тревога!..

– Да, – рассеянно подтвердил фон Гайер.

– Что нам теперь делать? – спросила Ирина с досадой.

– Согласно распоряжению, надо бы спуститься в убежище, – ответил бывший летчик.

– А остаться дома – это опасно?

– Все зависит от случая.

– Тогда положимся на случай! – проговорила Ирина. – Скоро подойдет Костов, и мы сможем хотя бы поужинать.

Но в тот же миг погас свет, и пришлось мириться с неприятной перспективой коротать время, покуривая в темноте. Лихтенфельд несколько раз пытался посветить ручным фонариком с динамкой. Наконец горничная принесла зажженную свечу и тщательно проверила, плотно ли закрыты окна, замаскированные черной бумагой. Ирина снова налила всем коньяку. Барон залпом выпил свою рюмку.

– Костов не придет, – сказал он. – Поедемте лучше к нам.

Ирина с удивлением услышала, что голос его дрожит.

– Зачем к нам? – спросил фон Гайер.

– Там будет удобней играть в бридж.

– Почему удобней?

– У нас есть яркая керосиновая лампа.

Фон Гайер не ответил. Страх барона казался ему недостойным немца и вызывал в нем раздражение. Но вскоре он понял, что Лихтенфельд боится опасности, как все нормальные люди, любящие жизнь. Животный страх и светское легкомыслие предохраняют его от недуга, который подтачивает души Ирины и фон Гайера. В эту минуту барон был более здоровым душевно и жизнеспособным человеком, чем Ирина, которая досадовала лишь на то, что воздушная тревога помешала ей играть в бридж, или фон Гайер, которому не хотелось двигаться с места.

– А у вас есть керосиновая лампа? – спросил Лихтенфельд, стараясь склонить остальных к отъезду.

– Нет, – ответила Ирина. – Завтра постараюсь купить… Впрочем, мы могли бы и ужинать, и потом играть в карты при свечах.

– У меня слабые глаза, я не могу играть при свечах, – заявил барон.

Он сконфуженно запнулся, спохватившись, что выдал свой страх.

– Вечер испорчен, ничего у нас не выходит, – хмуро проговорила Ирина.

– Тогда давайте выпьем!.. – предложил барон с напускным безразличием.

Он взял бутылку и наполнил рюмки.

Коньяк прибавил барону храбрости, но замирающий вой сирен по-прежнему терзал его нервы. С улицы все еще доносился шум торопливых шагов – запоздалые пешеходы спешили в убежище. Время от времени мимо проносились автомобили; они не давали гудков, потому что бульвар уже опустел. Над затемненным городом нависла тревожная, напряженная тишина. Ни звука не доносилось с улицы, и тягостное ожидание угнетало Лихтенфельда. Он рассчитал, что английские самолеты появятся над городом через четверть часа. Его обуяла злоба – он злился и на Гитлера, которого в глубине души всегда считал свихнувшимся невеждой, и на болгар, которые бряцали оружием и уже месяц назад расставили на крышах зенитные пулеметы, и на фон Гайера, которого ничто не могло вывести из равновесия, и даже на Ирину, которая так легкомысленно смотрела на все. Злился он и на себя за то, что приехал сюда играть в бридж, вместо того чтобы остаться в загородной вилле и читать детективный роман. Но привычка безропотно молчать в присутствии фон Гайера взяла верх над злобой и отогнала все эти мысли. Лихтенфельд наполнил свою рюмку и дрожащей рукой поднес ее к губам.

Ирина заметила это, но не засмеялась. Горькое чувство подавило улыбку. За себя она не боялась, но вспомнила, что врач, который сегодня должен был заменить ее в больнице, боялся бомбежек не меньше, чем Лихтенфельд. Нервы этого человека были истрепаны тем усердием, с каким он угождал всем и каждому, стремясь поступить в клинику обычным ассистентом. Честолюбие и полуголодные студенческие годы превратили его в безропотное и услужливое пресмыкающееся. Ирина вспомнила его заискивающее лицо с умными горящими глазами, которые говорили о лихорадочной жажде получить ученое звание и обеспечить себя богатыми пациентами. Если он пойдет на дежурство, он пойдет из малодушия, опасаясь рассердить Ирину и потерять ее могущественное покровительство – она имела влияние на главного врача клиники.

И тогда Ирина почувствовала, что ее эгоизм зашел слишком далеко, что она беззастенчиво распоряжается людьми и холодной жестокостью уже напоминает Бориса. Ей стало стыдно, что сегодня она просто приказала товарищу по работе заменить ее на дежурстве. Ей показалось унизительным, что она поступила так с беззащитным человеком, который не смел ей отказать, потому что ждал от нее помощи. Как гнусно воспользовалась она его малодушием!.. Как бесстыдно изменяла она Борису с фон Гайером, а фон Гайеру – с другими, случайными любовниками!.. Год назад могла ли она подумать о чем-либо подобном, не краснея и не презирая себя? На нее нахлынуло глубокое отвращение к самой себе и к миру, в котором она жила. И Борис, и фон Гайер, и Лихтенфельд сейчас казались ой дураками, а Ценкер – гнусной скотиной, завсегдатаем публичных домов для немецких офицеров. Все окружающее стало вдруг грязным и противным. Ирину охватила тоска о прошлом, о тех чистых и свежих днях, когда она, бывало, в сумерки, после захода солнца, помогала отцу убирать длинные низки табака, чтобы их не тронула ночная роса. И ей захотелось вернуть себе душевный покой прежних дней, захотелось смыть налипшую грязь. Но она поняла, что это теперь невозможно. Грязь уже впиталась в нее. Эгоизм и разврат обратились в привычку. Единственное, что ей оставалось делать, – это не совершать еще более гнусных поступков, не глумиться над людьми, не вести себя с наглостью и коварством уличной женщины. И тогда она сказала:

– Я должна ехать в больницу.

– Сейчас? – удивился фон Гайер. – Но ведь вы нашли себе замену?

– Боюсь, что он не решится выйти. Он не из храбрых. А сегодня вечером дежурю я, и ответственность лежит на мне.

– В таком случае надо ехать немедленно, – озабоченно посоветовал бывший летчик.

Он устал за день, и игра в бридж его не очень привлекала.

– Мы вас подвезем до больницы, – добавил он.

Лихтенфельд с тревогой прислушивался к их разговору. Ехать сейчас, когда самолеты приближаются к городу и вот-вот должна вступить в действие зенитная артиллерия, казалось ему сущим безумием. У него снова мелькнула мысль о смерти, и она представилась ему на этот раз осколком снаряда, который врезается ему в голову.

– Нам не успеть… – заикнулся он.

– Что?… – спросил бывший летчик.

– Сейчас опасно… – промямлил барон. – Скоро начнут стрелять зенитки.

– Уж не боитесь ли вы? – гневно проговорил фон Гайер.

– Вы шутите, господин капитан!.. – ответил Лихтенфельд с нервным смехом.

– Я могу поехать на своей машине, – сказала Ирина.

– Нет!.. Не беспокойтесь!.. – возразил расхрабрившийся Лихтенфельд. – Я довезу вас до больницы.

Ирина надела плащ, и все трое стали спускаться по темной лестнице. Улица была пуста. Силуэты домов чернели на фоне звездного неба. Фон Гайер сел за руль. Ирина села рядом с ним, чтобы показывать дорогу, а Лихтенфельд расположился на заднем сиденье. Бывший летчик погнал машину по безлюдным улицам. Над городом по-прежнему висела зловещая тишина, как будто все его население вымерло. Замаскированные фары автомобиля еще освещали белые линии и стрелки, обозначающие входы в бомбоубежища. Фон Гайер прислушался. Сквозь глухое гудение автомобильного мотора он уловил негромкий протяжный гул, хорошо ему знакомый, низкий, ровный шум быстро вертящихся пропеллеров, который отбросил его сразу на двадцать лет назад. Откуда-то приближались самолеты, но шум их был еще далеким, глухим и неясным. Монотонный и зловещий рокот моторов когда-то жестоко действовал ему на нервы, а теперь, напротив, по какой-то странной прихоти времени и воспоминаний казался приятным. Густой мощный гул боевых самолетов напомнил ему о несбыточных мечтах молодости, о задоре его двадцати трех лет и слащавой романтике летчиков первой мировой войны. Мыслями он ушел в прошлое, и сейчас оно казалось ему призрачным и прекрасным, как трагическая легенда о Нибелунгах. Но чей-то жалобный голос, прозвучавший у него за спиной, вернул его к действительности.

– Летят… – заикался барон. – Самолеты летят! Гоните быстрей, господин капитан!..

– Перестаньте давать советы! – рявкнул бывший летчик.

Ирина рассмеялась.

– Вы ведь не боитесь? – спросил фон Гайер.

– Нет, – ответила она. – Но эта поездка – только липшее беспокойство для вас.

– Мы просто едем домой… А вы дежурите и обязаны быть в больнице. Если ваш коллега не явится, вы можете получить выговор.

– Дело не в этом, – сказала она. – Никто не осмелится меня упрекнуть, да и заместитель мой будет па месте. Но не находите ли вы, что это безобразно – пропускать дежурство из-за партии в бридж? В этот вечер я решила, что надо быть честнее с людьми.

– Это бессмысленно, – возразил фон Гайер. – Человек должен быть честным только по отношению к своим принципам.

– Вот как?

– Да, так.

– Но если у человека нет принципов?

– У вас они есть.

Она засмеялась и неожиданно бросила:

– Сегодня поело обеда у меня был Ценкер.

Фон Гайер па это не отозвался. На миг он оцепенел, потом рука его невольно дрогнула. Колеса задели тротуар, и машина подскочила.

– А!.. – проговорил он рассеянным, шутливым тоном, словно лишь чуть-чуть удивляясь тому, что услышал. – Он сам пожелал прийти?

– Нет, это я позвала его.

– Этого следовало ожидать, – сказал фон Гайер. – Я допускал такую возможность.

В его голосе прозвучало равнодушие и полная безучастность ко всему на свете.

– Теперь вы, конечно, глубоко презираете меня.

– Нет, – ответил он. – Я не настолько ограничен. Вы не похожи па других и имеете право поступать, как вам хочется. От этого вы не станете хуже.

– Значит, мое поведение вам безразлично?

– В некотором смысле – да. Но это не важно. Важно то, что я вас уважаю.

– Что же во мне еще можно уважать?

– Например, то, что вы ничего не боитесь и решили ехать в больницу… И то, что вы сказали мне про Ценкера.

– Это у меня вырвалось случайно, – ответила она. – Я бы могла и промолчать.

– Нет, вы еще не настолько сильны и молчать не смогли бы. Но с этой минуты, наверное, сможете… Надо, чтобы вы могли.

– Спасибо. Совет хороший, но я ему не последую.

– Почему?

– Потому что потом я чувствую себя очень плохо.

– Слабость!.. – почти сочувственно проговорил немец.

А Ирина снова подумала, что этот человек, как и она, безнадежно отравлен жизнью.

Они выехали на Княжевское шоссе, идущее мимо больницы. Дорога была темна и пустынна. Гудение самолетов стало близким и отчетливым. Они уже были над городом, и по небу протянулись длинные щупальца прожекторов. Где-то загремели первые выстрелы зенитной артиллерии. Снаряды фейерверком разрывались в покрытом легкими облаками небе, оставляя за собой длинные светящиеся ленты.

– Остановитесь здесь, – сказала Ирина. – Я дойду до больницы пешком.

– Нет, мы довезем вас до самого подъезда, – спокойно возразил фон Гайер.

– Не успеем!.. – завопил Лихтенфельд.

Но фон Гайер, не обратив внимания на его вопль, свернул к больнице. Артиллерийская стрельба усилилась. На мостовую стали падать осколки снарядов. Внезапно в грохот орудии ворвался рев снижающегося самолета. Зенитный пулемет, стоявший поблизости, поднял истерическую трескотню, и тут же раздался глухой взрыв бомбы. Все это длилось считанные секунды, и вскоре рокот самолета замер вдали, а пулемет умолк. Фон Гайер осторожно вел машину по темным аллеям больничного парка. Ирина ровным и спокойным голосом говорила ему, куда ехать. Когда они остановились перед терапевтической клиникой, самолеты были уже далеко и стрельба прекратилась. Фон Гайер проводил Ирину до подъезда. Когда они прощались, она почувствовала на своей руке ледяное прикосновение его губ.

Вестибюль был погружен во мрак. В глубине коридора мерцала лампочка. Ирина вошла в кабинет дежурного врача, но там никого не было. Весь больничный персонал скрылся в убежище. «Какое малодушие!» – рассеянно подумала она, удивляясь страху врачей и медицинских сестер. Она была уверена, что сама не испугалась бы, даже если бы вокруг стали падать бомбы. Но тотчас же поняла, что объясняется это не храбростью, не самообладанием, не чувством долга, а просто равнодушием. Она устала от всего, что ее окружает, разочаровалась в людях, потеряла интерес к жизни, и потому ни бомбы, ни смерть в эту минуту не пугали ее.

**II**

Война принесла кое-какие перемены и в захолустный Средорек. Цены на табак упали, жить стало еще труднее, многих запасных призвали в армию и отправили в оккупированные области. Но в село по-прежнему заезжали агенты табачных фирм. Они осматривали табачные поля, говорили между собой по-немецки и с брезгливой гримасой заходили отдохнуть в пропахшую чабрецом и прокисшим вином корчму Джонни. Закупки, как всегда, не обходились без мошенничества и плутовства. Агенты-скупщики по-прежнему божились, что крестьяне скоро пустят по миру фабрикантов, и со страдальческим видом отсчитывали им скудный задаток, который тут же отбирал сборник налогов, доказывая своим жертвам, что без налогов государство пропадет. Но фабриканты не разорялись, а государство не пропадало. Скорее наоборот – настроение у фабрикантов улучшалось с каждым днем, а государство расщедрилось и подарило Средореку полицейский участок, в котором село не испытывало особой необходимости, так как жители его не дрались и не убивали друг друга. А если это и случалось, то очень редко – когда в какой-нибудь семье поднимался спор между братьями при разделе отцовского клочка земли.

В участок прибыло пять полицейских. Их начальник, смуглый злой красавец родом из Северной Болгарии, по целым дням сидел позевывая в корчме Джонни, долго и нудно вел допросы и приставал к женщинам. Глаза у него были темные, а взгляд ленивый и пристальный, как у гадюки.

Затем в село прислали энергичного старосту с высшим образованием, похожего на шерифа из ковбойского фильма; он сразу же начал брать взятки. Прохвост, не лишенный способностей и падкий до чужого добра, староста лихо ездил верхом и не расставался с револьвером. Он присвоил себе феодальное право самовольно чинить суд и расправу, но крестьяне даже и не роптали – слишком уж они натерпелись от волокиты законного суда и алчности городских адвокатов.

Джонни по-прежнему был агентом-скупщиком «Никотианы» и все так же ловко опутывал крестьян, которые обращались к нему за помощью в трудную минуту. Мало-помалу он перестал бояться коммунистов. Ведь правительство решило разделаться с ними и принимало против них строгие меры. Дело о смерти Фитилька расследовали до конца, и Джонни уже нечего было опасаться мести убийц. Один из них покончил с собой в городе, а другой бесследно исчез. Но за это успокоение Джонни заплатил дружбой со Стоичко Данкиным. Побратимы охладели друг к другу, и только воспоминания о тяготах солдатской жизни под Дойраном непрочной нитью соединяли их души, навсегда разделенные табаком.

Как-то раз в июне Стоичко Данкин с утра рубил дрова в лесу, после обеда помогал жене рыхлить табачное поле, а вечером, усталый и удрученный, зашел в корчму Джонни. Он почти целую неделю не заглядывал в корчму, надеясь, что старый приятель наконец устыдится. Горько обиженный, Стоичко Данкин зарекался даже, что, пока не начнутся закупки, ноги его не будет у Джонни, но непредвиденная нужда в деньгах заставила его снова идти на поклон к ростовщику.

Если не считать Джонни, стоявшего, как обычно, за прилавком, в корчме находился только начальник полицейского участка в расстегнутом мундире. Тут было жарко и душно. Большая ночная бабочка кружилась около закопченного стекла керосиновой лампы. Полицейский неторопливо потягивал ракию, расспрашивая Джонни о какой-то приглянувшейся ему вдове. Джонни сально улыбался, но отвечал неохотно, отделываясь пустыми словами. Он старался сохранить расположение начальника местной полиции, по ему не хотелось прослыть сплетником и сводником. Бабы ничуть его не интересовали, да и всем вокруг опротивели любовные похождения полицейского. «Добрый вечер!» – сказал Стоичко Данкин, но ни корчмарь, ни полицейский не ответили на его приветствие. Из всех жителей села Стоичко был самым смирным и безобидным. Однако сейчас полицейский враждебно покосился на него за то, что тот перебил его на полуслове, а Джонни поморщился от досады: приходилось опасаться, что в рваной одежонке Стоичко водятся вши, а это могло повредить репутации «Корчмы, ресторана и гостиницы Средорек», особенно в глазах господ, приезжающих на автомобилях перед уборкой табака разузнавать о видах на урожай.

Чтобы не мешать разговору, Стоичко робко сел за дальний столик у самой двери. Полицейский потянулся, зевнул, и на его ленивом похотливом лице отразилась досада. Но вдруг он встал, залпом допил ракию, рассеянно кивнул Джонни и, звеня шпорами, вышел из корчмы. Корчмарь сполоснул стопки и стал расставлять их по прилавку.

– Эх, Джонни!.. – с горечью проговорил Стоичко Данкин. – Неужто ты меня не видишь?

Джонни ничего не ответил, и Стоичко обиженно умолк. Но он решил во что бы то ни стало восстановить старую дружбу. Это было просто необходимо сделать теперь, когда снова приходилось просить у Джонни взаймы, не выплатив старых долгов.

– Дай стопку ракии!.. – попросил он с великодушной шутливостью человека, решившего не раздражаться.

– На этот раз обойдешься без ракии, – сухо ответил Джонни. – Довольно ты меня доил.

– Это я-то тебя дою? – оторопел Стоичко Данкин.

Как ни жалко ему было своих деньжонок, он вынул из-за кушака длинную тряпицу, в которой было завернуто несколько пятилевовых монет. Взяв одну монетку и тщательно пересчитав остальные, Стоичко небрежно бросил ее на прилавок. Джонни презрительно покосился на монетку.

– Убери свои деньги! – сердито буркнул он и резким движением пододвинул к Стоичко стопку водки. – Подношу в последний раз… Больше не дам ни за деньги, пи без денег. Так и знай.

– И-их, Джонни!.. – с укоризной воскликнул Стоичко Данкин, внезапно разволновавшись.

Однако жажда выпить после недельного воздержания даровую стопку ракии пересилила гордость, и он поспешил спрятать свою монету.

– Голодранец! – продолжал ворчать Джонни. – Сам без штанов ходит, а будет мне деньги швырять.

Но Стоичко давно привык к кулацким замашкам своего приятеля и пропустил его слова мимо ушей. Оп отпил немного ракии и блаженно зажмурился, чувствуя, как тепло разливается по жилам.

– Зачем тебя опять принесло? – спросил Джонни.

– Так просто! Захотелось поболтать о прежних временах…

Джонни ухмыльнулся в усы. Он любил порыться в старых воспоминаниях и невольно бросил взгляд на глиняную бутылку из-под рома. Стоичко Данкин мгновенно воспользовался его минутной слабостью и быстро проговорил:

– Помнишь, Джонни?… Вместе ведь его тащили.

Корчмарь все смотрел на бутылку. Оп не мог равнодушно вспомнить о волнующем подвиге разведчиков, который двадцать пять лет назад принес им медали и отпуск. И всякий раз Джонни пробирала дрожь – ведь от каких мелких случайностей подчас зависит, останешься ли ты в Живых! Исхудавшие, оборванные, полуголодные, но молодые и ловкие, как пантеры, они пробирались к английским окопам темной, безлунной ночью и, вооруженные только ножами и гранатами, сумели захватить одного полумертвого шотландца, который спустя несколько часов скончался от полученных ран. Во время схватки были жуткие мгновения, когда все зависело от быстроты, с какой человек наносил удар ножом… Но Стоичко Данкин слишком уж часто злоупотреблял волнением, которое охватывало Джонни в минуты воспоминаний. Поэтому корчмарь хоть и расчувствовался, но тут же спохватился в гаркнул:

– Ах ты, лисица!.. Ты только на ракию набивался или опять за деньгами пришел?

Стоичко виновато улыбнулся, показав редкие пожелтевшие зубы.

– Нужда, браток, сам понимаешь!.. – пролепетал он.

– Не дам, – хмуро отрезал Джонни. – Табак скоро опять подешевеет. Я уже вперед заплатил тебе за весь твой урожай, даже слишком дал.

На лице у Стоичко Данкина застыла улыбка – и застенчивая и вкрадчивая, как у монастырского послушника, который выпрашивает деньги у игумена.

– Сколько? – сурово спросил корчмарь.

– Ну, дай хоть тысячи полторы, – нерешительно вымолвил Стоичко.

– На что они тебе?

– Хочу одеть своего парня, – сбивчиво принялся объяснять дровосек. – Самого старшего, ты его знаешь… который в городе учится. В этом году гимназию кончил, а осенью поступит в школу запасных офицеров – вызвали его туда.

– Этого шалопая? – злобно спросил Джонни. – Того, что на Георгиев день царя обругал?

– Враки это, браток, не верь людям, – заступился за сына Стоичко Данкин и, отхлебнув ракии, отер ладонью седые усы. – По злобе наговаривают. Парень хороший… Учился, а сам работал – я на него гроша ломаного не истратил…

Стоичко умолк, и глаза его засияли гордостью и умилением.

– Вот я и надумал одеть его по-городскому… – продолжал он. – Грех мне перед богом… Ведь он до нынешнего дня ничего от меня не видел. Сам себе на хлеб зарабатывал, как говорится, с малых лет батрачил.

Джонни слушал с мрачной завистью во взгляде. Стоичко Данкин сообразил вдруг, что нечаянно затронул больное место приятеля. У Джонни было двое детей – сын и дочь. Сын с грехом пополам окончил только прогимназию. После безуспешных попыток учиться в гимназии он вернулся к отцу и окончательно отупел от однообразной работы в корчме и беспробудного пьянства. Военная служба в городе сделала его развратником, скандалистом и достойным соперником начальника местной полиции в любовных похождениях. Дочь Джонни окончила школу домоводства; девушка она была смышленая и хорошенькая, но убежала из дому с одним повесой-столяром, который появлялся на сельских ярмарках, щеголяя напомаженными волосами и франтовским костюмом городского покроя. Теперь этот молодчик волочился за женщинами и проедал приданое жены, а работу свою забросил, хотя Джонни помог ему обзавестись в городе мастерской. Бережливому и даже скупому Джонни было особенно тяжело видеть, как зять мотает деньги, которые выторговал у него за дочь. Все это было хорошо известно Стоичко Данкину. Ему стало жалко приятеля, и он сделал неуклюжую попытку посочувствовать его горю.

– А впрочем, я своего озорника тоже не очень-то хвалю, – сказал он. – Молодо-зелено, сам знаешь… Из-за пустяков может голову потерять. Но я все-таки хочу купить ему одёжу. Вот я и…

– Денег на сына я тебе не дам, – сухо отрезал Джонни.

– Почему так, браток?

– Так.

– Нынче табак у меня хорошо уродился, – не сдавался Стоичко Данкин. – Соберу и с той полосы, что взял исполу у отца Манола.

– Не дам, – повторил корчмарь.

Но, желая показать, что он ничего не имеет против самого Стоичко Данкина, поставил перед ним вторую стопку ракии. Тут Стоичко с грустью убедился, что змеиная зависть поселилась в душе его приятеля.

– Эх, Джонни!.. – сокрушенно вздохнул он, не прикоснувшись к стопке.

Стоичко задумался. Никогда еще ему так не хотелось иметь деньги – иметь для того, чтобы купить сыну городской костюм. Это странное желание возникло у него, когда, оглянувшись на свою жизнь, он осознал, что вся она прошла в нищете. За что бы ни брался Стоичко, где бы ни работал, дети его всегда ходили голодные и оборванные. И вот его сын Стоимен своими силами выкарабкался из этой беспросветной, безысходной крестьянской нужды.

Желание Стоичко Данкина сделать подарок сыну стало еще более страстным.

– Слушай! – с внезапной решимостью воскликнул Стоичко. – Я подпишу вексель… Если не смогу вернуть тебе деньги из задатка за табак, продай мое поле!

Джонни бросил на него негодующий взгляд.

– Да ты с ума спятил, голодранец!.. Он, видите ли, хочет поле свое заложить, чтобы купить одёжу сыну! Да ведь если даже он выучится, твой сын, если станет офицером или учителем, какой в этом толк? Все равно от тебя далеко не уйдет, а у тебя и рубахи на теле нет! Пусть те покупают ему костюм!

– Кто те? – беспокойно спросил Стоичко Данкин.

– Красные бездельники, городские, что ему учиться помогали. Ну, чего ты на меня уставился?… Я не дурак, чтобы давать деньги тем, кто меня зарезать собирается!

– Тебя зарезать?

– Ну да, зарезать или имущества лишить, все едино… Ладно, хватит ко мне приставать с деньгами. Лучше выпей.

И Джонни поднял свою стопку, чтобы чокнуться с приятелем. Но Стоичко Данкин все так же смотрел на него заблестевшими от гнева маленькими синими глазками. И вдруг он грубо выругался, повернулся спиной к Джонни и пошел к двери. Первый раз в жизни он вышел из этой корчмы, не прикоснувшись к ракии.

– Стоичко!.. Эй, Стоичко!.. – кричал ему вдогонку корчмарь. – Вернись, дуралей!..

Но Стоичко Данкин даже не обернулся.

Пришло золотое знойное лето, предвещавшее хороший урожай табака, и средорекские крестьяне не разгибая спины работали в поле. Ослепительно сияла глубокая безоблачная синева, а солнце обдавало жаром красноватые песчаные холмы, засаженные табаком. Между прямыми рядками этого ядовитого растения от зари до зари копошились загорелые люди – рыхлили, пололи, обрывали листья. Только в полдень, когда жара становилась невыносимой и над полем нависала томительная тишина, люди бросали работу и шли отдохнуть в тени орехового дерева или каштана. Высокая, тощая, как ящерица, крестьянка кормила грудью младенца. Седой старик в заплатанных шароварах в продранной соломенной шляпе, медленно спустившись к широкой реке, окунал распухшие ноги в ее ленивую желтую воду. Деревенские подростки (почти все взрослые парни были взяты в армию и отправлены в Македонию и Фракию) заигрывали с девушками под вишнями. Девушки покатывались со смеху, но этот смех звучал резко и пронзительно, словно тишина, придавившая деревню, погасила их жизнерадостность.

А под вечер, когда солнце клонилось к закату и вечерние тени удлинялись, на шоссе со стороны города показывался автомобиль с экспертами какой-нибудь табачной фирмы. Из машины выходили господа в кепках и брюках-гольф. Отведав в ближайшем монастыре жареной форели с густым мелникским вином, они приходили в благодушное настроение. Господа стремились составить себе общее представление об урожае и, как всегда, старались сочетать приятное с полезным.

– Ну, как? – добродушно осведомлялись они. – Хороший нынче табак?

– Хороший, хороший, – отвечали крестьяне.

– А пятна? Попадаются на листьях пятна? – интересовались господа.

– Нет, пятен нот! – как всегда, хитрили крестьяне.

Но экспертов трудно было провести, и они шли на поле как будто из праздного любопытства, а на самом деле чтобы убедиться своими глазами, нет ли на листьях пятен от мозаичной болезни. Они зорко пробегали глазами по зеленым рядкам табака, усеянного нежными бледно-розовыми цветочками. И тогда самодовольные лица становились хищными, как во время закупок.

– Чей это участок? – спрашивал, держа сигарету в зубах, толстый рыхлый господин с бесцветными заплывшими глазками.

– Кривого Стойне, – неохотно отвечал кто-нибудь из крестьян.

– Куда ж он запропал, этот Стойне?

Господин снисходительно подделывался под крестьянскую речь, а хитрые его глазки испытующе бегали по запущенному, непрополотому табачному полю, поросшему сорняками и зараженному мозаичной болезнью.

– Малярия его трясет, ваша милость… А сына мобилизовали. Вот и не смог вовремя опрыскать табак. А вы из какой фирмы будете?

Толстяк вынимал записную книжку и делал в ней какую-то пометку. Потом рассеянно обращался к крестьянину:

– Что? Ты у меня что-то спросил?

– Спросил, из какой вы фирмы.

– Из «Никотианы», – ухмыляясь, лгал толстяк под одобрительное хихиканье своих служащих.

– Может, вы сам хозяин?

– Нет, не хозяин. Хозяин «Никотианы» водится только с министрами да с богачами. – И брюхо нового генерального директора фирмы «Джебел» тряслось от смеха.

Разыгрывая крестьян, директор тем самым скрывал от конкурентов свой объезд табачных плантаций.

– А это чей участок? – продолжал любопытствовать директор «Джобела», указывая на соседнее поле, еще более запущенное.

– Санде Попадиина.

– А он куда запропастился?

– Убежал в горы, вата милость… к партизанам подался.

– Да что ты говоришь!

– Так-то!..

И крестьянин, напустив на себя негодование и озабоченность, со злорадством наблюдал, как тревога пробегает по лицам этих толстых клещей, пьющих кровь средорекских крестьян.

Однажды в жаркий июньский день Динко отдыхал после обеда в тени вязов на краю своего поля. Все утро он без передышки рыхлил табак под палящими лучами солнца, потом перекусил брынзой с хлебом, принесенными из дому, и ненадолго забылся сном. Когда он проснулся, жара уже спала. Красноватые, засаженные табаком холмы ярко выделялись на лазурном небе. Вокруг было тихо и грустно; па полях люди уже снова принялись за работу. Дин ко вздохнул, словно ему не хватало воздуха; на самом же деле его угнетали тоска и вынужденное бездействие. Боевой группе, организованной в деревне, не хватало оружия. Попадиин, узнав, что ему грозит арест за антинемецкие разговоры, бежал из села. С собой он захватил только одну гранату и ржавый солдатский штык.

Динко потянулся, чтобы размять свое сильное тело, взял мотыгу и, погруженный в тягостные мысли, не спеша направился к своей полосе, решив еще немного поработать. Заботиться о табаке не имело сейчас для него никакого смысла, но работа помогала убить время и отвести подозрения старосты. Участок находился по другую сторону ложбинки с вязами и поднимался на вершину холма, где Динко работал только рано утром или под вечер, когда солнце не так сильно припекало. Противоположный склон холма был покрыт каменистой осыпью. Тут петляло шоссе, ведущее в город через Средорек.

Поднявшись на вершину холма и посмотрев вниз, Динко увидел на шоссе крестьянскую девушку в белой косынке и с кувшином в руках. Это была его сестра Элка. Он сразу узнал ее по крупной фигуре и неуклюжей походке. Заметив брата, она прибавила шагу и быстро замахала чем-то над головой – книгой, газетой или письмом. Динко приободрился. Сестра несла свежую холодную воду, а может быть, и почту с известиями из города.

– Повестка… – крикнула она, подойдя ближе. – Тебе повестка, вызывают в казармы… И письмо от Ирины.

Динко охватила хмурая радость. Повестка означала конец вынужденному бездействию, а редкие письма Ирины всегда пробуждали в нем окрашенное горечью смятение чувств – тоску по ней, любопытство, волнение. Образ Ирины не угасал в его памяти. Она писала ему раз в два-три года, только тогда, когда надо было уладить в городе или деревне какие-нибудь дела, касающиеся отцовского имущества. Эти письма были ответом на его сухие напоминания о том, что надо выслать деньги для взноса налогов, если вырученной арендной платы на это не хватало. Обычно Ирина присылала сумму гораздо более крупную, чем требовалось, сопровождая ее обидной просьбой купить на оставшиеся деньги подарки бедным родственникам. Сама же она ни разу не потрудилась купить или выбрать эти подарки. То были преувеличенно любезные письма, в которых она с напускным интересом спрашивала о двоюродных братьях, дядюшках и тетках, хотя постоянно путала их имена и степени родства, потому что судьба родственников ничуть ее не волновала. Письма эти были кое-как нацарапаны прямым почерком на дорогой бумаге, причем Ирина старалась писать как можно крупнее, чтобы скорее исписать лист и отделаться от неприятной обязанности. Но даже такие письма разжигали в сердце Динко давнее чувство, уносили его мысли далеко от Средорека и его однообразной жизни.

Элка подошла к брату, вспотевшая и раскрасневшаяся от быстрого подъема по сыпучему обрыву. Как и Динко, она была хороша собой – рослая, светловолосая, синеглазая. Элка напоминала красивую, выносливую рабочую скотинку, и какой-нибудь деревенский бедняк мог бы полюбить ее так же горячо, как и свой клочок земли. Но у нее не было грации Ирины, только улыбка и ровные зубы смутно напоминали ее двоюродную сестру, горожанку.

– Откуда ты знаешь, что письмо от Ирины? – равнодушным голосом спросил Динко.

Он всячески старался скрыть свое волнение.

– Я сразу узнала. – Девушка поставила кувшин па землю, перевела дух и вытерла платком лицо. – Узнала по бумаге и по духам.

Динко взял письмо и повестку, которые Элка завернула в старую газету, чтобы не запачкать их потными пальцами. Аромат духов «Л'ориган», исходивший от конверта, сразу заглушил деревенские запахи земли, табака и выгоревшей на солнце травы. Это было благоухание далекого, недоступного существа из чужого мира, который вызывал у сестры удивление, а у брата – ненависть. Сначала Динко прочел повестку. Она была прислана из военного округа и не очень его удивила, так как он ждал ее со дня на день. Не успел он ее прочесть, как принял решение. Повестка стала для него сигналом к уходу в партизанский отряд. С завтрашнего утра, подумал он, для него начнется новая жизнь – кочевая, папряженная и опасная, но зато наполненная до краев, а этого ему как раз не хватало. Для него не было другого выхода, если он хотел остаться верным тому, о чем мечтал, что понял и ради чего жил до сих пор. Элка, словно отгадав его мысли, спросила робко:

– Что ты теперь будешь делать?

– Уйду в горы, – ответил Динко. – Что же еще делать?

– А мы с мамой?

– Сидите смирно. Я думаю, вас не тронут.

Элка заплакала, но Динко тут же одернул ее:

– Разревелась! А еще ремсистка!

Досадливо поморщившись, он вскрыл конверт с подкладкой. Письмо начиналось с обычных любезностей, затем следовали вежливые вопросы о здоровье родственников со знакомой путаницей в именах, которые Ирина так и не могла запомнить. Далее она кратко сообщала о своем внезапном решении продать отцовское хозяйство в деревне и уполномочивала Динко проделать это. «Я хочу вложить деньги в одно предприятие, которое быстро развивается, – писала она, – и думаю, что ты одобришь мое решение, тем более что дохода от двух участков и мельницы едва хватает на уплату налогов». В конце она приглашала Динко навестить ее, когда он приедет в Софию, и великодушно уверяла его, что хочет, чтобы родственники покойного отца ее не забывали.

Динко сунул письмо в конверт и погрузился в горькое раздумье. Да, она не изменилась – такая же неискренняя, чужая, совсем от них оторвавшаяся. Он вспомнил, что в гимназии, еще до того, как она продалась недосягаемому миру господ, она стыдилась своего родства с ним, Динко, презирала его деревенские царвули и домотканую полосатую сумку, в которой он носил учебники. И он вспомнил еще многое из своего детства – всякие мелочи, которые отдаляли от него Ирину и за которые винить приходилось лишь деревенскую бедность и невежество. Но сейчас эти воспоминания были смягчены глухой горечью его безнадежной любви.

– Что она. пишет? – спросила Элка.

Недавние слезы ее, вызванные тревогой за брата, осушило женское любопытство.

– Ничего, – ответил Динко.

Сочувственные взгляды сестры выводили его из себя. Глаза Элки спрашивали: «Значит, она до сих пор не дает тебе покоя, и ты не можешь ее забыть?» Динко спохватился, что резким ответом выдал свое волнение. Он попытался исправить ошибку, пробормотав презрительным тоном:

– Хочет продать свое хозяйство.

– Хозяйство?

– Да, хочет все продать.

– Как «все»? – взволнованно спросила Элка.

– Очень просто – все!.. Бахчу, оба участка и мельницу.

– А кто их купит?

Динко рассмеялся.

– Покупателей сколько угодно… Умные покупают, а таких дураков, которые продают, теперь мало. Деньги обесцениваются, и каждый старается превратить их в недвижимость. Впрочем, может быть, она и права. Ее мир идет к концу.

– Но ведь она умная и ученая, – ехидно заметила Элка.

Она никогда не упускала случая съязвить по адресу Ирины в присутствии брата.

– Это ее дело, – презрительно отозвался Динко. – Она, наверно, хочет вложить деньги в акции «Никотиапы».

– Акции? – переспросила Элка. – А что такое акции?

– В двух словах не расскажешь… Не твоего ума дело, – с досадой проговорил он. Потом продолжал более спокойно: – При помощи акций они распределяют прибыль.

– Кто «они»? – спросила Элка.

– Те, кто пот из нас выжимает. – В голосе Динко внезапно прозвучало ожесточение. – Торговцы, немцы, правительство, царь… Все, кто живет нашим трудом и презирает нас, как скот. Все, кого мы должны раз и навсегда вышвырнуть отсюда!

Динко поднял кувшин и выпил холодной воды.

– Ладно, занимайся своим делом! – спокойно сказал он. – Иди долгой и приготовь мне белье. А я подожду здесь ветеринара – надо посоветоваться с ним насчет коровы.

Он взглянул на часы. Из соседней деревни скоро должен был проехать участковый ветеринар, который обещал ему свой револьвер. Динко хотел принести в отряд оружие хотя бы еще для одного бойца.

Элка не торопясь пошла в деревню.

Немного погодя Динко увидел с вершины холма двуколку ветеринара, которая медленно ползла вверх по извивам шоссе. Динко спустился на шоссе и присел у обрыва, ожидая, когда двуколка покажется из-за поворота. Солнце уже касалось горизонта, и в его красноватых лучах растущие вокруг тысячелистник и молочай приобретали сочный зеленый оттенок. На полевых межах, в придорожных канавах, в одиночных кустах, разбросанных по осыпи, кузнечики затянули свою вечернюю песню, печальную и монотонную, как жизнь людей, которые выращивали табак. Время от времени поднимался легкий ветерок, теплый и сухой, колыхал стебли тысячелистника и приносил с собой дыхание выгоревшей на солнце травы, простора и раскаленной земли. Наконец из-за поворота показалась двуколка ветеринара, которую везла тощая казенная лошадь. Чтобы уменьшить груз, ветеринар слез и шел рядом с лошадью, глядя в землю, поглощенный своими заботами. Это был высокий худощавый молодой человек с длинными ногами и преждевременно состарившимся, изможденным лицом. II двуколка, и его старенький костюм, усеянный пятнами от лекарств, крепко пахли конским потом и креолином. После тяжелой работы со скотом эти запахи везде ему сопутствовали. В двуколке лежали сумка с инструментами, чемоданчик с вакцинами и каучуковый зонд, при помощи которого лошадям дают лекарства через нос. Динко спустился с обрывистого склона и подошел к ветеринару.

– Здравствуй, доктор!.. – сказал он.

– О!.. – вздрогнул от неожиданности ветеринар. – Это ты?

Пока он шагал рядом с лошадью, в голове у него толпились тягостные мысли – об околийском ветеринаре, который отравлял ему жизнь преследованиями, о старухе из соседней деревни, которую искусала бешеная собака, о вспышке сибирской язвы у рогатого скота на его участке, о безуспешной борьбе с чумой у свиней. Все эти проклятые болезни требовали карантинов, прививок, сводок, изнурительных объездов, постоянного напряжения, надоевших споров с хозяевами животных. Ветеринар вспомнил, как на днях он созвал в одной горной деревне собрание, чтобы рассказать крестьянам о борьбе с заразными болезнями животных, но увлекся и начал говорить о Советском Союзе. Вскоре он с неприятным удивлением обнаружил среди собравшихся старосту и понял, что тот непременно пошлет на него донос в. околийское управление. Вспомнил он, наконец, устало шагая рядом с двуколкой, и о тех бедняках, которые вот уже много часов ждали его с больными животными возле лечебницы. Больничный служитель сообщил ему по телефону, что в числе прочих животных привели лошадь с острым расстройством желудка. Желудок ей надо было тщательно промыть с помощью зонда, и за эту трудную, кропотливую работу ветеринар должен был приняться, несмотря на усталость, едва сойдя с Двуколки. Он думал и о многих других делах, с которыми ему никогда бы не справиться, если бы он не умел жертвовать собой, если б не любил крестьян, среди которых вырос.

– Прости!.. – сказал он. – Я запамятовал, что ты меня ждешь.

– Ничего. А ты не забыл захватить игрушку?

– Конечно, нет!

Ветеринар с опаской оглядел безлюдную дорогу, потом вынул из заднего кармана брюк револьвер и быстро подал его Динко.

– Берн… Наган старый, но стреляет хорошо.

– Дома посмотрю.

Динко поспешно сунул револьвер в карман.

– А я повестку получил, – сказал он.

– Гады! – выругался ветеринар. – Наверное, пошлют тебя в часть.

– Ты думаешь, так я и пойду? Сегодня же ночью двину в горы.

В глазах у ветеринара мелькнуло безмолвное восхищение. Он так взволновался, что у него перехватило дыхание.

– А как с оружием? – прошептал он наконец.

– Отберем у врага. Давай закурим.

– Не могу. Пациенты ждут. Проводи меня.

– Ладно.

Ветеринар взялся за узду и повел лошадь. Динко шагал рядом с ним. Солнце медленно скрывалось за горизонтом. Последние его лучи освещали холмы печальным красноватым светом. Немного погодя солнечный диск совсем исчез, и дымка на западе приняла фиолетовый оттенок. Над ядовито-зелеными табачными полями все так же звенела песня кузнечиков. В болотце возле реки заквакали лягушки.

– Сколько человек пойдет с тобой? – спросил ветеринар.

– Семеро.

– А сын Стоичко Данкина?

– Мы решили отправить его в военное училище. Через два года у нас будет верный человек с военным образованием. Передай это товарищам из околийского комитета.

– Хорошо, – задумчиво отозвался ветеринар. – Но неужели ты думаешь, что борьба так затянется?

– Да, борьба может затянуться, – ответил Динко.

Красноватый свет заката постепенно превращался в пепельно-серый полумрак вечера. Громада ближней горы потемнела, но зубчатые скалы на ее вершине все еще горели оранжевым пламенем. Нестройное кваканье лягушек слилось в громкий хор.

Друзья перевалили через холм и уселись в двуколку, которая легко и ровно покатилась вниз по склону. Когда они спустились в долину, сумерки уже сменились звездной ночью, а в воздухе запахло сеном. В темноте пролетали светлячки. Откуда-то доносилось мычание стада и лай собак. Запоздавшие пастухи покрикивали на овец, спеша загнать их в кошары. Динко вздохнул. Он почувствовал, что р этой тишине и просторе, в этом покое и мирном труде таится какое-то глубокое наслаждение, которое он ощущает в последний раз. На Востоке начиналась гигантская война, которая должна была перерасти в борьбу за новый мир. А этот новый мир мог подняться только из обломков разрушенного старого мира.

Вдали замерцали огоньки деревни. Вскоре Динко слез с двуколки, а ветеринар поехал дальше, в соседнюю деревню, где находилась его лечебница. На прощание молодые люди сердечно пожали друг другу руки. И тогда Динко снова почувствовал, что никогда больше не увидит этого человека, никогда не насладится покоем мирной жизни. Он понял, однако, что это не предчувствие, а страх – обычный, естественный, свойственный каждому жизнерадостному человеку страх смерти, и еще страх перед опасностями нелегальной жизни, которая начнется для него через несколько часов. Но он быстро преодолел этот страх.

Поздно ночью в роще па краю деревни собрались семеро мужчин и неторопливым шагом направились в горы. У них было только два револьвера и один карабин.

**III**

Единственным существом на свете, которое Борис по-прежнему любил и уважал, оставалась его мать. Видя ее, он с удовольствием представлял себе, какой путь он прошел в жизни, и часы, проведенные с нею, хоть и были омрачены ее тоской о Стефане, всегда были ему приятны.

Как-то под вечер она позвонила Борису из своего захолустного городка и попросила его непременно приехать. Борис согласился, хотя завтра днем ему надо было выезжать в Гамбург. В тот же вечер он сел в машину, приказав шоферу ехать побыстрее. Спустя полтора часа он уже подъезжал к родному дому.

Мать ждала его в садике. Только что прошел теплый весенний дождь. Воздух был насыщен ароматом цветущей сирени и роз. Борис почтительно поцеловал руку матери. Она чуть коснулась холодными губами его лба. До сих пор она не могла простить Борису, что он так равнодушно отнесся к участи Стефана.

– Почему ты сидишь в беседке? – спросил он.

– Дома никого нет, мне почему-то стало душно, дайка, думаю, подышу чистым воздухом.

Мать тревожно следила за полицейским, который лениво шел по улице, но Борис не заметил ее беспокойства.

– А где отец?

– Вчера уехал в Софию.

Борис поморщился. Поездки Сюртука в Софию всегда были связаны с какой-нибудь его очередной блажью.

– А меня не известил!.. – Борис почувствовал досаду. – Что ему там сейчас понадобилось?

– Да все с кметом препираются… Отец хочет продолжать раскопки римских бань – это в саду, около теперешних бань, – а кмет не позволяет копать, пока не кончится курортный сезон… И он прав!

– Конечно, прав! – согласился Борис. – А ты не пробовала образумить отца?

Мать рассеянно усмехнулась. Никто не мог образумить Сюртука. Вероятно, она так и сказала бы, но сейчас мысли ее были заняты другим.

– Совсем из ума выжил! – вспыхнул Борис – Надоело мне с ним возиться! В министерствах меня уже на смех поднимают… Весь мир содрогается – такие происходят события, – а старик занялся раскопками римских бань…

Полицейский прошел мимо, и лицо матери стало спокойным.

– И что это еще за новая мания – переводить учителей из гимназии в гимназию! – продолжал Борис. – Инспектора от него прямо стонут.

– Если ты уладишь дело с раскопками, он оставит учителей в покое, – проговорила мать.

– С ума спятил старикашка!

Борис ласково взял мать под руку, и они пошли к крыльцу. Солнце опускалось, прячась в оранжевых облаках. Невдалеке монотонно и тихо журчал ручей, сирень запахла еще сильнее.

– Как Мария? – спросила мать, когда они подошли к крыльцу.

– Все так же, – рассеянно ответил Борис. – Вчера ее увезли в Чамкорию… Надоела она всем.

Мать не отозвалась. Ей было стыдно. Стыдно, что человек, который сказал это, – ее сын.

Они вошли в столовую, мать повернула выключатель, и при свете люстры Борис прочитал на ее лице радость, тревогу и озабоченность. Темные глаза ее горели лихорадочным блеском, на увядших щеках проступили пятна неяркого румянца.

– Что с тобой? – спросил Борис.

Он смотрел на мать с суровым участием, готовый с гневом обрушиться на каждого, кто осмелился бы ее потревожить.

– Ничего! – загадочно улыбнулась мать.

– Зачем ты вызвала меня?

– Так просто! Долго не виделись. Захотелось поужинать вместе с тобой.

Борис продолжал порицать отца – теперь уже за патриотическое усердие, с каким тот старался очистить околию от учителей-коммунистов. В принципе Борис был не против этой кампании, но хлопоты, связанные с нею, не приносили дохода, и, следовательно, она была так же бессмысленна, как и раскопки римских бань. Кроме того, это озлобляло учителей, восстанавливая их против «Никотианы».

– Угостишь меня рюмкой коньяку? – попросил Борис, когда его раздражение улеглось.

– Нет! Сегодня не дам! – строго проговорила мать. – Погоди немного, потом я принесу вина.

– Ладно, – согласился Борис.

Снова на лице матери появилась загадочная улыбка. «Будет просить денег на приют», – подумал сын. На этот раз он решил расщедриться, чтобы доставить ей удовольствие.

– Как поживают твои сиротки? – Борис сделал вид, что случайно вспомнил о сиротах.

– Как всегда… Грустные они, бедняжки, и такие милые.

– Может, им чего-нибудь надо?

– Пока нет.

Борис был озадачен. Мать перевела разговор на ого торговые дела в Беломорье. Она накрыла стол белой скатертью и стала доставать посуду из буфета.

– Зачем ты так хлопочешь? – спросил Борис. – И куда делась горничная?

– Я отпустила ее на несколько дней.

– А кто же делает все по дому? – рассердился Борис. – Ты совсем не бережешь свое здоровье!

Он закурил сигарету и стал внимательно всматриваться в хлопочущую мать. В каждом ее жесте проглядывало волнение.

– Зачем ты ставишь третий прибор? – вдруг спросил он.

Мать не ответила. Лицо ее порозовело. Она легко вздохнула и вдруг упала на стул, как будто ноги у нее подкосились. Борис вскочил и бросился к ней на помощь. В это время дверь из кабинета Сюртука распахнулась и чей-то голос громко и звучно воскликнул:

– Добрый вечер, братишка!..

На пороге стоял Павел.

Борис смотрел на него, онемев от изумления.

Первым его чувством был страх. Этот страх был вызван тем, что Павел явился неожиданно, словно привидение, и что пришел он из мира, который молотит немецкую армию на Востоке, рвет ее на куски и перемалывает, не зная ни устали, ни жалости. Это был душевный и физический страх генерального директора «Никотианы» перед Советским Союзом, перед болгарскими рабочими и крестьянами, перед собственным братом – коммунистом. Страх его вспыхнул внезапно и превратился в леденящий ужас. Борис содрогнулся и побледнел.

Павел шагнул в комнату. Он почти не изменился – был все такой же высокий, широкоплечий, с черными блестящими волосами, зачесанными назад. Только черты лица его заострились и стали более суровыми, а кожа покрылась медно-красным загаром. На губах его играла еле заметная насмешливая улыбка.

– Ну что? – весело спросил он. – Испугался малость, а?… Но хватало только, чтоб ты и правда испугался… Здравствуй!

– Здравствуй!.. – Голос Бориса звучал хрипло, радость ого была явно притворной. – Мама, коньяку! – обратился он к матери.

– Какой еще коньяк? – прогремел баритон Павла. – Ведь ты обещал не пить!

– Не могу, разволновался… Без коньяка мне сейчас нельзя.

– Вот как? До чего ж ты докатился! – Павел бросил на пего строгий взгляд. – Мама, так и быть, давай коньяк! Чокнемся все трое.

Мать сидела, не в силах сдвинуться с места, и молча смотрела па встретившихся братьев. Очнувшись, она встала и принесла бутылку коньяку. Павел налил. Все чокнулись и выпили.

– Так! – Борис наконец пришел в себя. – Ну и дела! Вот так комедия!..

Он хлопнул Павла по плечу и, окончательно развеселившись, громко и пронзительно рассмеялся.

– Слушай, братец! – Павел вдруг стал серьезным. – Если кто-нибудь сюда придет, я сразу же исчезаю. А ты забудь, что видел меня. Понял?… Иначе будет плохо.

– Что значит «плохо»? – Борис снова побледнел.

– Неприятности будут у матери… и так далее.

– Ах, да! – догадался Борис. – Ты приехал как нельзя кстати.

– Почему кстати?

– Разве ты не видишь, какое теперь положение? Завтра мы все будем рассчитывать на тебя.

Павел усмехнулся.

Мать с напряженным вниманием следила за разговором сыновей. Ее опасения оказались напрасными. Братья встретились дружелюбно, быстро поборов вспыхнувшую было вражду, а значит, можно было надеяться на их примирение. Но в глубине души она оставалась неспокойной. А что, если они только притворяются? Ведь они с детства привыкли сдерживать себя и не ссориться в ее присутствии.

– Ты давно в Болгарии? – спросил Борис.

– Несколько месяцев.

– Откуда приехал?

Павел не ответил.

– Ладно, не важно, если это секрет! – Борис махнул рукой. – А что ты делал все эти десять лет? Рассказывай!

– Скитался но Аргентине и Бразилии… Потом уехал добровольцем в Испанию… Мама, наверное, тебе рассказывала.

– И теперь выбился в верхи?

– Нет, я рядовой.

– Ну да! – Борис опрокинул вторую рюмку коньяку и оживился еще больше. – Вот выскочишь в министры Отечественного фронта, тогда попробуй тронь нас!

– Мы боремся не за министерские кресла.

– Все так уверяют, пока не дорвутся до пирога.

Павел чуть заметно нахмурился.

– Ну а у тебя как идут дела? – спросил он немного погодя.

– Так себе! – скромно ответил Борис. – Торгуем тихо, мирно… Стараюсь перехитрить немцев, иначе несдобровать… Все от них стонут.

– Вы сами их призвали.

– Кто мог думать, что они окажутся такими разбойниками? Вот англичане – те совсем другое дело, с ними можно договориться. Знают люди, как подойти к делу. Умный народ!

Павел снова нахмурился, но мать этого не заметила. Она бегала из кухни в столовую и обратно, радостная и счастливая. Братья непринужденно шутили и подтрунивали друг над другом, как в детстве, как в те годы, когда ничто их не разделяло. С какой тоской она мечтала о том мгновении, когда увидит в своем доме помирившихся сыновей!.. Борис выждал, когда она опять ушла на кухню, и спросил скороговоркой:

– Знаешь, что со мной случилось?

– Знаю! Не повезло с женитьбой?

– Как бы не так! С женитьбой мне повезло дальше некуда! – Борис презрительно махнул рукой. – Так вот, третьего дня чуть было не укокошили меня ваши «лесовики»… Ну, называют их так… А может, они и не хотели меня убивать… Я знаю, они за народ… Я матери ничего не сказал, чтобы ее не волновать.

– Об этом поговорим потом!

Павел сделал ему знак замолчать. В столовую вошла мать с бутылкой белого вина в руках. Братья перевели разговор на безобидные темы и снова стали перебрасываться шутками и беззлобно высмеивать чудачества отца. Весь ужин они рассказывали анекдоты о нем и делились семейными воспоминаниями. Время от времени перед ними мелькала тень Стефана. Кто-нибудь называл его имя – и наступала томительная пауза, во время которой все трое думали о покойном. В одну из таких пауз мать расплакалась.

– Во всем виноват Костов! – сказал Борис – Две недели этот франт мариновал письмо и ничего мне не говорил.

– Ты сам должен был позаботиться о брате, не дожидаясь Костова! – с укоризной заметил Павел.

– Я же просил министра! – Борис вздохнул и сделал скорбное лицо. – Подержим его, говорит, месяца два, в воспитательных целях… Почем я знал, что так получится?!

– Нет тебе никакого оправдания! – воскликнула мать сквозь слезы.

– Довольно об этом! – сурово проговорил Павел. – Мама, ложись спать! Мы с Борисом еще немного поболтаем… Иди, иди, ведь ты обещала!

После ухода матери тон разговора резко изменился. Борис снова налил себе коньяку, и Павла это вывело из терпения.

– Хватит наливаться! – гневно бросил он. – Что это за безобразие! С пьяным я разговаривать не буду.

– С пьяным?… – Борис злобно смотрел на брата. – Кто тебе сказал, что я пьян? Это тебе только кажется, потому что ты босяк и ни черта не понимаешь в хорошем коньяке.

– А тебя в нем научило разбираться твое богатство?

– В нем и во многом другом, чего ты еще не видел… А когда увидишь, будешь более высокого мнения о богатстве.

Борис снисходительно похлопал брата по плечу и закурил сигарету.

– Так, значит, ты стал нелегальным, а? – ухмыляясь, проговорил он, развалившись на стуле. – И наверное, числишься в главарях так называемого Отечественного фронта? Интересно, что это за шайка? У вас всегда какая-то туманная терминология.

– Поймешь ее, когда придется отвечать перед судом народа.

– Но очень возможно, что всех вас перевешают раньше, чем вы учредите этот суд.

– Поздно уже, братец! – На лице Павла заиграла суровая усмешка. – Весь народ поднялся против вас, а Германия стремительно катится к пропасти. Тебе ясно положение? Не прикидывайся спокойным.

Борис опять содрогнулся от холодного ужаса.

– Я не прикидываюсь! – сказал он примирительно. – Я просто хотел посмотреть, до чего дошел твой фанатизм.

– Значит, ты хочешь испытать мое терпение? Но это опасно.

– Что?… Застрелишь меня, что ли? – усмехнулся Борис.

– Нет, но могу потерять всякое желание спасать твою шкуру. А это было бы тяжелым ударом для матери. Я прав?

– Прав, прав! Смотри, до чего мы дожили! Но в сущности, зачем ты попросил маму устроить нам эту встречу?

– Ты можешь оказать нам одну услугу?

– Какую? – с тревогой спросил Борис.

– Один наш товарищ сидит в тюрьме и приговорен к смерти.

– Ну и?…

– Надо отменить приговор или хотя бы отложить казнь.

– Дело нехитрое! Как его зовут?

– Блаже Николов.

– Знаю его… Во время большой стачки он семь потов с меня согнал.

– Ты об этом не вспоминай.

– Да, конечно, не буду.

– Если спасешь его от виселицы, можешь быть спокоен за себя… Тебе это зачтется.

– Договорились. Завтра же начну действовать.

– Как можно скорее!.. Теперь другое: я хочу посмотреть твою виллу в Чамкории.

– Зачем?

– Мне она кажется очень удобной для переговоров, которые мы собираемся начать с некоторыми проанглийскими кругами.

– С проанглийскими кругами?…

– Они, видимо, решили прощупать почву.

– То есть как «они»?

Борис помрачнел.

– Хотят обменяться мнениями, – объяснил Павел. – Если согласятся с нашей программой, то добро пожаловать и Отечественный фронт!

– А я почему об этом ничего не знаю? – В голосе Бориса звучал гнев.

– Наверное, скрывают от тебя. Считают тебя германофилом.

– Вот как?… Ты знаешь, что я член Коронного совета?… Знаешь, что его величество держит меня как глубокий резерв на случай переговоров с англичанами? Знаешь ли ты, что я…

– Знаю! – Павел с досадой махнул рукой. – Но его величество думает, что еще рано закидывать к нам удочку, чтобы спасать династию и свою шкуру. Кроме того, ни у кого нет к тебе доверия. Рабочие и крестьяне тебя ненавидят, англичане знают, что ты ведешь двойную игру, да и немцы о тебе не лучшего мнения…

Борис не ответил. Нижняя челюсть у него отвисла и рот перекосился.

– Слушай! – Голос Павла стал еще более жестким. – Имей в виду и другое! Не думай, что ты выслужишься перед немцами или союзниками, если выдашь меня властям… Но если ты все-таки па это пойдешь – знай, что жить тебе останется лишь несколько часов. И мать будет презирать тебя всю жизнь… Это тебе тоже ясно?

Борис все еще сидел с перекошенным ртом. На лице его застыло беспомощное идиотское выражение. «Совсем пропащий человек…» – не без грусти подумал Павел.

– Погоди, братец!.. – Борис пытался взять себя в руки, но в голосе его звучал страх. – Конечно, я тебя не выдам! Разве можно?… Глупости это… Ведь… немцы… проигрывают…

– Конечно, проигрывают! – рассмеялся Павел. – Пошли их ко всем чертям.

– Постой!.. – запинаясь, продолжал Борис. – Мне надо… выпить коньяку… Я так взволнован…

– Выпей!.. Жизнь твоя действительно висит на волоске.

– Но я все сделаю… Вы не ликвидируете меня, правда?

– Если будешь молчать и спасешь Блаже. Кроме того, не забудь о вилле. Оставь ключ маме.

– Все… все…

Павел взглянул на часы и поспешно встал. Пора было идти. Привычным движением он нащупал револьвер в заднем кармане брюк и протянул руку Борису.

– Ну, прощай!.. Я ухожу.

– А вы… меня не ликвидируете?… Нет?

– Если не будешь делать подлостей.

– Это правда?… Правда?

Павел снова почувствовал, как его угнетает состояние Бориса.

– Успокойся наконец, черт побери! – воскликнул он. – Ну и трус же ты!.. Глядеть на тебя противно.

И Павел быстро вышел из комнаты.

Борис остался один. Он принялся пить коньяк рюмку за рюмкой, пока сознание у него не помутилось, пока страх и гнев не растворились в мрачном оцепенении хмеля. Потом его одолела дремота, и он заснул, сидя на стуле. Когда проснулся, был пятый час утра. Его знобило, болела голова. Охваченный чувством безнадежности и пустоты, он вдруг вспомнил о том, что надо немедленно исполнить просьбу брата. И он снова ощутил, что мир «Никотианы» опасно накренился и грозит падением, а к нему, Борису, фортуна повернулась спиной.

Он медленно встал и, не надев шляпы, не простившись с матерью, пошатываясь вышел из дому. Было прохладно и тихо. На небе еще блестели звезды, по на востоке уже проступила белесая полоска рассвета. Из соседнего двора доносился тоскливый крик совы. В маленьком бассейне посреди сада квакали лягушки.

Он подошел к машине, ожидавшей его на улице. Шофер спал. Борис грубо растолкал его.

– Гони! – приказал он, бросившись на сиденье.

Он опустил стекло, проглотил капсулу с порошком кофеина, которую ему дала Ирина, и закурил. Прохладный ночной воздух и кофеин немного взбодрили его. Мысли его стали проясняться. «На волоске! Гм, посмотрим!..» Только бы успеть обработать и вывезти табак, закупленный в Беломорье!..

Он наклонился вперед и рявкнул:

– Быстрей!

Шофер погнал машину быстрее.

Некогда всесильный, господин генеральный директор «Никотианы» улыбнулся так же самодовольно, как в дни расцвета своего торгового могущества. Он не сознавал, что сейчас спешит в город лишь для того, чтобы спасать – против своей воли – осужденного на смерть коммуниста. Он не сознавал, что потом придется ехать в Гамбург, чтобы пресмыкаться перед акционерами Германского папиросного концерна и распускать мелкие сплетни о гнусных похождениях и взяточничестве Лихтенфельда, который берет комиссионные с конкурентов «Никотианы».

**IV**

Мария медленно умирала.

Зимой ее держали в Софии, а летом – в Чамкории, под наблюдением медицинской сестры, которая ходила за больной уже девять лет. Борис хотел поместить жену в отдельную квартиру, но Ирина воспротивилась этому. Она считала, что подло выгонять Марию из ее собственного дома.

Однажды летним вечером в Чамкории сиделка поняла, что больная при смерти. Уже несколько дней страшно исхудавшая Мария лежала без движения и упорно отказывалась от пищи. По ее лицу блуждала бессмысленная улыбка, пустые, невидящие глаза тупо смотрели в потолок, изо рта текла слюна.

К этому времени сиделка успела прочесть множество книг по медицине и давно ждала конца. Однообразная и тоскливая жизнь в обществе больной стала ее тяготить, несмотря на солидное жалованье, которое она целиком откладывала. Сиделка уже скопила себе небольшое состояние. Но молодость свою упустила.

Она вызвала по телефону врача, который лечил Марию. Врач в тот же день приехал из Софии на своем автомобиле, несмотря на жару и далекое расстояние, – он всегда был готов жертвовать собой ради богатых пациентов.

– Кончается, – сказал он, всматриваясь в лицо больной. – Последняя стадия болезни.

Это был молодой врач, способный и преуспевающий, очень начитанный и с хорошими манерами, что помогало ему привлекать пациентов. Лоб у него был высокий, из-за очков в роговой оправе глядели холодные умные глаза. Иногда в глазах этих появлялось и сострадание. Но даже в такие минуты с его лица не сходило выражение расчетливости, словно у торгаша, который знает цену своему мастерству. Однако сейчас лицо врача никакого сострадания не обнаруживало. Больная надоела и ему.

– Господи!.. Неужели умрет? – с притворным испугом пробормотала сестра.

А глаза ее молчаливо спрашивали: «Когда же наконец?»

– Завтра, самое позднее послезавтра, – ответил врач, поняв ее вопрос.

– Бедненькая!.. – вздохнула сестра.

И тут ее действительно взволновала мысль о перемене, которая со смертью Марии произойдет в ее жизни. Наконец-то и она заживет, как другие поблекшие, но еще не потерявшие привлекательности перезрелые девушки. Она собиралась купить себе квартирку из двух комнат и завести близкого друга – какого-нибудь скромного, чистенького служащего, с которым можно будет по вечерам ходить в кино, а по воскресеньям совершать прогулки на Витошу. Замужество ее не привлекало. Девять лет она размышляла в одиночестве о болезни Марии, о Борисе с Ириной, о супружеской жизни господ Спиридоновых и пришла к выводу, что брак имеет значение только как договор, определяющий денежные отношения. Но она уже могла считать себя вполне обеспеченной и не нуждалась в подобном договоре.

– Где господин Морев? – спросил врач.

– В Берлине, – ответила сиделка. – А может быть, в Гамбурге. Он уехал вместе с господином Костовым.

– А госпожа Спиридонова?

– Она в Карлсбаде.

Доктор озадаченно наклонил голову. Близкие не застанут Марию в живых, даже если вызвать их телеграммами. А в отсутствии родственников не имеет смысла играть роль врача, героически борющегося со смертью. Подобно хорошему актеру, он не хотел блистать своим талантом перед пустым залом.

– Мы можем послать телеграмму госпоже Ирине, – предложила сестра.

– Где она?

– В Варне.

Доктор слегка поморщился. Ирина была не глупее, чем он, и сразу же распознала бы рекламную основу его бесполезного усердия.

– Пожалуй, это не имеет смысла, – сказал он. – Я переночую здесь… и приготовьте мне завтра утром теплую ванну.

– Я позабочусь об этом, – пообещала сестра.

– Благодарю вас.

И, сделав больной совершенно бесполезный для нее укол кардиазола, врач спустился в сад, чтобы просмотреть газеты.

Мария умерла на следующий день вечером, незадолго по приезда Ирины. Она угасла тихо и незаметно, как догорает забытая свеча. Сиделка расплакалась. Ей вдруг стало жалко расставаться с той жизнью, которую она вела при больной, с одиночеством, покоем, книгами. За эти девять лет Мария как бы сделалась частью ее жизни, но сестра осознала это только теперь.

Когда Ирина приехала, доктора уже не было, а Мария лежала на своей кровати, обмытая и прибранная.

У изголовья ее стоял букет цветов, которые сиделка набрала на горном лугу. На ночном столике горела свеча. Теперь от Марии остался только остывший труп, и казалось, что она отдыхает от мук, пережитых в том мире, который и создал ее, и погубил. На ее лице не осталось и следа от гримасы бессмысленного смеха. Больной разум Марии отлетел, и она снова сравнялась с другими людьми. Глядя на покойницу, Ирина почувствовала знакомое смущение, которое всегда испытывала, наблюдая за припадками ипохондрии у сумасшедшей. Губы Марии словно шептали: «Теперь все принадлежит тебе… И Борис, и «Никотиана», и все огромное богатство моего отца, которое Борис удвоил… Ты заботилась обо мне, и я тебе благодарна, но ты уже не любишь Бориса, а только тянешься к его богатству, как любая уличная девка и воровка…»

Ирина вышла из комнаты, чтобы не слышать этого шепота. Ночью погода испортилась. Между соснами свистел ветер. Двери скрипели и стонали, будто покойница встала со смертного ложа и в последний раз обходила виллу. Ирина, не выдержав, поднялась наверх, закурила и попыталась заняться чтением. Но свист ночного ветра и таинственные звуки, чередующиеся с немой тишиной, угнетали ее. Она спустилась в столовую, подошла к буфету и налила себе рюмку коньяку. Алкоголь расслабил ее натянутые нервы, и душевное смятение вылилось у нее в невеселый смех. До чего она сейчас похожа на Бориса!.. Боится чего-то смутного, неопределенного, но, как и он, стремится пройти свой путь до конца, как и он, обманывает себя напускной самоуверенностью… Вклады ее в нескольких банках теперь казались ей скромными сбережениями, роскошная квартира – тесной, а спортивный автомобиль – банальной игрушкой. Девушка, ходившая когда-то на свидания к часовне, незаметно превратилась в подругу женатого мужчины, затем в любовницу, принимающую подарки, nocif этого в сожительницу, требующую уважения, и, наконец, в хитрую, неразборчивую содержанку, которой все равно, уважают ее или нет. А теперь она хотела выйти за Бориса, завладеть «Никотианой» и ее миллионами. Она погрязла в гнусностях мира, которым правят деньги, предалась лености, эгоизму и наслаждениям, кокетничала своим любительским интересом к медицине и ошеломляла всех своим мотовством и причудами. И, осознав все это, Ирина почувствовала, что она всего лишь паразит, вызывающий озлобление людей.

На востоке медленно занималась заря дождливого дня.

На следующее утро Ирина послала телеграммы в Берлин, Гамбург и Карлсбад, распорядилась перевезти покойницу в Софию и набальзамировать тело, чтобы сохранить его до приезда Бориса и госпожи Спиридоновой из-за границы. Конечно, надо было устроить хотя бы приличные похороны. Но на самих похоронах Ирина присутствовать не хотела и решила провести дней десять в Чамкории. Сиделка уехала в Софию сопровождать тело, и на вилле осталась только пожилая кухарка, которая хорошо готовила, но, подавая на стол, иногда вдруг принималась истерически плакать по Марии. То был невыносимый плач впадающей в детство старухи. Чтобы от него отделаться, Ирина отослала кухарку в Софию и стала обедать в казино, а потом велела приносить себе обеды на дом. Она старалась не думать о Марии и всецело предалась отдыху, как умеют отдыхать светские женщины, поглощенные мелочными заботами о своем здоровье и красоте.

Погода прояснилась. После дождей воздух был напоен озоном и ароматом смолы. Днем ярко светило солнце, по ночам мерцали холодные звезды. Ирина каждое утро ходила гулять в лес, а после обеда читала и спала. Но вместо успокоения в душу ее незаметно вселилась тоска и горечь. Тишина, покои и сдержанность тяготили ее. Однажды ее обуяло желание вызвать по телефону из Софии фон Гайера, но она удержалась. После ее свидания с Ценкером бывший летчик гордо отошел от нее, желая показать ей свое превосходство. Потом она как-то встретилась в лесу с юнкером из моторизованной части, охранявшей резиденцию царя в Ситнякове. Это был привлекательный, красивый юноша. Ирина, которой наскучило одиночество, бросила ему многозначительный взгляд. Юнкер остановился и непринужденно заговорил с ней. И вдруг она вспомнила, что этот юноша – сын бывшего министра, одного из юрисконсультов «Никотианы». Пробудившееся благоразумие предостерегло Ирину от сомнительного приключения, которое могло повредить ее репутации. Она разозлилась на себя и, расстроенная, вернулась домой. И ей показалось, что в душе у нее таится что-то безнадежно порочное, какая-то гниль, от которой ее не может избавить даже чувство собственного достоинства.

Однажды вечером, когда она легла спать и погасила лампу, ей опять стало страшно, как в день смерти Марин. Ей почудилось, будто в вилле находится еще кто-то. Было уже около полуночи, и она всячески старалась заснуть, по негромкое завывание ветра не давало ей покоя. По небу неслись рваные тучи, и луна то выглядывала из-за них, то пряталась. Из открытого окна веяло сыростью горных ущелий и запахом папоротника и грибов.

Ирина завернулась в одеяло и снова попыталась заснуть, но безотчетный страх и ощущение полного одиночества, и физического и духовного, отгоняли сон. Внизу, на первом этаже, слышались чьи-то шаги. Перед сном Ирина тщательно заперла все двери, и все же ей теперь казалось, что кто-то их открывает. «Нервы разыгрались, – подумала она. – А может, это оттого, что совесть у меня неспокойна?» Она вспомнила, что пять лет назад не настояла на том, чтобы отправить Марию за границу и там испробовать новейшие методы лечения. Влажный, застойный климат Чамкории осложнял состояние больной тяжелыми бронхитами. Иногда о ней забывали до поздней осени и только в ноябре перевозили в Софию. Последнее время все – и Ирина в том числе – смотрели на Марию как на бремя, от которого хотелось поскорее избавиться. PI теперь Ирине мерещилось, что покойная вернулась, чтобы прогнать наглую выскочку, замышляющую отнять у нее дом. «Нервы шалят, – опять подумала она, – хочу добиться своего, а смелости не хватает. Всегда так. В сущности, я неплохо относилась к Марии. Даже гораздо великодушнее, чем она заслуживала…» Но она тут же поймала себя на том, что в глубине души всегда с нетерпением ждала смерти Марии. И негодующий призрак покойной по-прежнему словно бродил по комнатам.

Скрип дверей, приглушенные шаги, неясные долгие шорохи нарушали ночную тишину. Ирина встала, решив принять снотворное, чтобы надолго уснуть крепким сном. И тут она вдруг поняла, что внизу действительно кто-то ходит. Она совсем ясно расслышала знакомый скрип двери между холлом и гостиной первого этажа. Сердце у нее забилось. Ее охватил панический страх и чувство полной беспомощности. Вилла стояла в уединенном месте, а в последнее время люди все чаще поговаривали о каких-то «лесовиках», которые бродят по горам, а ночью спускаются в населенные места, нападают на немцев и забирают продовольствие. Эти разговоры вызывали в ее воображении образ отчаянного, затравленного и озлобленного человека, который из-за пустяка готов пойти на убийство.

Она прислушалась, но, кроме унылого свиста ветра в верхушках сосен, ничего не было слышно. «Наверное, почудилось», – подумала она. Это ее утешило, иона даже посмеялась над собой. Страх перед реальными «лесовиками» помог ей понять, как нелепо было пугаться призрака Марии. Вместо того чтобы портить себе нервы снотворным, лучше было сойти вниз и убедиться, что там никого нет. Подшучивая над своими страхами, Ирина надела халат из тяжелого шелка, взяла спички и с сигаретой в зубах вышла из спальни, зажигая по дороге лампы одну за другой.

На втором этаже не было ничего подозрительного. Только проходя мимо спальни Марии, где стояла залитая мертвенным лунным светом опустевшая кровать, Ирина невольно вздрогнула. Но это была лишь мгновенная слабость. Она уже не боялась призрака. Закурив сигарету, она стала спускаться по деревянной лестнице, которая вела в холл. Лампы горели только на лестнице, и половина холла была погружена во мрак. Сойдя с последней ступеньки, Ирина повернула выключатель, поставленный для удобства между лестницей и передней, у парадного входа. Хрустальная люстра залила холл ослепительным светом. Но при этом свете Ирина увидела нечто такое, от чего застыла на месте, скованная страхом. Она хорошо помнила, что перед сном тщательно заперла дверь между холлом и гостиной, потому что к гостиной примыкала низкая веранда, с которой можно было легко пробраться в дом.

Сейчас эта дверь была открыта настежь.

За нею зловеще зияла непроглядная тьма гостиной. Значит, шум не почудился. Дверь не могла отпереться и открыться сама. Кто-то вошел в дом.

Ирина ухватилась за спасительную мысль, что это сиделка, которая ходила за Марией, а может быть, Борис или Костов неожиданно приехали сюда из Софии. Но она вспомнила, что Борис с Костовым в Гамбурге, а сиделка непременно позвонила бы с парадного входа, потому что у лее нет ключа. Ирина поняла, что помощи ждать неоткуда. Снова панический ужас овладел ею, и она вспомнила о доведенных до отчаяния рабочих, которые перешли на нелегальное положение и скрывались после подавления большой стачки табачников. Неужели ей придется расплачиваться за жестокость Бориса? Какая нелепость!.. Хотя обитатели вилл и привыкли называть «лесовиков» бандитами, Ирина знала, что все скрывающиеся – коммунисты, которые с оружием ушли в горы и, следовательно, не имеют ничего общего с уголовным миром. Какое зло могут они причинить ей?… Никакого. Но ей снова стало страшно при мысли о том, что неизвестный может оказаться простым бандитом или жуликом. Это ее встряхнуло. Не следовало стоять так беспомощно и неподвижно. В ней проснулись вдруг любовь к жизни и мужественное хладнокровие, унаследованные от отца. Ум ее напряженно работал, стараясь быстро оценить положение и найти выход. В двух шагах от нее – телефон. Не сводя глаз с открытой двери, Ирина совершенно бесшумно, чтобы не вспугнуть злоумышленника – если только он находился в вилле, – подошла к аппарату и сняла трубку. Тонким писком откликнулся сигнал станции. Но не успела Ирина набрать первую цифру, как потеряла самообладание. Трубка выпала из ее рук.

В черном прямоугольнике открытой двери внезапно появился высокий незнакомый мужчина и бросился к Ирине. Она решила, что незнакомец хочет ее убить – так стремительны были его движения, – но тут же поняла, что главная его цель – взять у нее из рук и положить на место телефонную трубку.

– Вы супруга Бориса? – быстро спросил он.

Незнакомец строго смотрел на нее. Ирина не ответила.

От ужаса мысли ее все еще путались. Однако она заметила, что ни внешность, ни поведение незнакомца не были особенно угрожающими. Он был одет в измятый, но еще приличный серый костюм. Темные его глаза выделялись на матовом лице, а гладко зачесанные назад волосы блестящим черным шлемом облегали голову. Ирине показалось, что она тысячу раз видела это лицо, и все же она не могла его узнать.

– Возьми себя в руки, – сказал он. – Но бойся меня.

– Кто вы такой? – спросила она, немного придя в себя.

Снова ею овладела нелепая уверенность в том, что это лицо, этот взгляд и губы ей бесконечно знакомы, но разум опять отказался сделать из этого вывод, который уже напрашивался.

– Ты слишком любопытна, – ответил незнакомец. – Лучше пообещай больше не трогать телефона.

– Чего вы от меня хотите?

– Ничего, кроме благоразумия… Можешь не бояться за свою невинность… Но если сюда ворвутся солдаты или полиция и будут спрашивать обо мне, забудь, что ты меня видела, и, как подобает порядочной женщине, протестуй против ночного обыска… Ясно?… Иначе я буду вынужден стрелять, и первая же пуля попадет тебе в голову.

Ирина пристально смотрела на него. Он говорил небрежным, немного презрительным тоном, с едва заметной улыбкой, обнажавшей белые блестящие зубы. Матовое лицо с высоким лбом, прямым носом и тонкими, саркастически изогнутыми губами было выразительно и красиво. Чей взгляд напоминали эти испытующие, глубоко посаженные темные глаза? Но разум Ирины снова отказался признать сходство с другим, знакомым до омерзения, холодным и подлым лицом. Отказался, быть может, потому, что человек, на которого она смотрела сейчас, был более мужественным и красивым, чем тот, на кого он походил. В лице незнакомца не было и следа змеиной холодности того, кто подкупал, обманывал, грабил, и тупой ограниченности торгаша, охваченного безумной жаждой власти над миром. Перед нею было честное, одухотворенное лицо, освещенное внутренним огнем. Ирине вдруг стало ясно, что она сейчас чувствует нечто похожее на волнение своей первой встречи с Борисом. Но то был лишь мимолетный порыв, и он быстро угас в ее выжженной душе. В тот же миг она с усмешкой подумала, что этот мужчина правится ей просто потому, что плечи у него широкие, тело стройное и сильное, а ведет он себя бесцеремонно и дерзко.

Он вынул из кармана парабеллум, отливающий голубоватым блеском.

– Как видишь, оружие у меня действительно есть, – предупредил он. – Мой совет: подумай хорошенько, прежде чем действовать.

Ирина усмехнулась. Страх ее прошел, и у нее мелькнула мысль, что появление этого мужчины напоминает пикантное ночное приключение.

– Над чем ты смеешься? – недовольно спросил он.

– Над твоей трусостью, – ответила она, тоже переходя на «ты». – Мне незачем тебя выдавать.

– Вот как? – Он засмеялся. – Может, я тебе понравился?

– Да, ты мне нравишься.

– Мне кажется, ты слишком поспешна в своих оценках.

– Такой уж у меня темперамент.

– А чем ты занимаешься?

Она ответила спокойно:

– Я любовница твоего брата.

При ярком свете люстры она успела заметить, как тень тревоги промелькнула по его лицу и как быстро оно снова стало спокойным. Но он больше ничем не выдал своего волнения, а только удивленно взглянул на нее, словно в со признании было что-то неожиданное.

Ирина закрыла дверь в гостиную и села против незнакомца за столик с курительными принадлежностями. Ее халат из тяжелого светло-зеленого шелка не был застегнут как следует, так что из-под него виднелась пижама с глубоким вырезом, приоткрывавшим грудь.

– Ты, наверное, одна из дорогих подружек моего брата, – сказал Павел.

– Да, из самых дорогих, – ответила она. – Тебя это возмущает?

– Нет. Но и не особенно воодушевляет.

– Понимаю. Боишься за свое достоинство.

– Да! А теперь покажи мне свои документы, – внезапно сказал он.

– Это что – приказ?

– Скажем, почтительная просьба.

– Зачем тебе мои документы?

– Хочу знать твое имя… Оно может мне понадобиться, если завтра ты проболтаешься и наделаешь мне неприятностей с полицией. Небольшая мера предосторожности.

Он усмехнулся.

– Удостоверение личности я потеряла, – сухо проговорила она. – Но мой заграничный паспорт наверху.

– Пойдем, ты мне его покажешь.

Ирина резко встала и направилась к лестнице. Павел последовал за нею, неторопливо и уверенно шагая своими длинными ногами. Поднимаясь по лестнице, он рассеянно смотрел по сторонам – на ковры, люстры, зеркала, па всю эту роскошную обстановку, залитую ярким электрическим светом.

– Значит, ты располагаешь этой виллой? – проговорил он.

– Да, когда бываю здесь.

– А как на это смотрит законная супруга?

– Она умерла.

– Умерла?… Да что ты! Когда?

– Пять дней назад.

– Жалко!.. – Но голос Павла звучал совершенно равнодушно. – В высшем обществе тоже бывают трагедии. Отчего она скончалась?

– От тяжелой и продолжительной болезни.

– Наверное, поплатилась за грехи отца?

– Замолчи!.. – вспылила Ирина. – Мертвые заслуживают большего уважения.

– Это верно, – сказал Павел. – Но иногда трудно бывает сообразить, кого из людей вашего мира следует уважать, а кого – нет… Эта вилла – маленький дворец. Она вполне достойна тебя.

– Достойна содержанки, ты хочешь сказать.

– Ты все сердишься.

– Нет! Просто хочу показать тебе, кого надо уважать, а кого – нет.

Она повернула голову и засмеялась. Павел, не моргнув, выдержал ее взгляд. Ирина с горечью заметила, что в его глазах по-прежнему сквозит недоверие.

– Поживем – увидим, – промолвил он.

Они поднялись наверх и вошли в спальню Ирины. Это была просторная, светлая комната, самая удобная во всей вилле. Окна ее выходили в лес, маленькая дверь вела в ванную, в глубине стояла двуспальная кровать. Павел поморщился, так неприятно подействовало на пего благоухание духов «Л'ориган», кровать, блеск мебели, позолоченные рамы зеркал и бессмысленная роскошь безделушек. Ирина вынула из своей сумочки паспорт и небрежно бросила его на круглый столик, стоявший посреди комнаты.

– Вот мой паспорт! – сказала она.

Павел взял и медленно открыл паспорт. Острые глаза его остановились на фотографии, пробежали по имени, дате рождения, профессии. Какая-то жилка дрогнула у него на щеке. Он взглянул на Ирину и спросил изменившимся голосом:

– Значит ты… вы врач?

– Не надо «вы». Мы начали на «ты».

– Хорошо, – пробормотал он. – Надеюсь, что ты меня простишь.

– За что?

– За те глупости, которые я только что наболтал. Я принял тебя за женщину легкого поведения.

Наступило молчание. Но вскоре Ирина нашла в себе силу сказать:

– Ты не ошибся. Я содержанка твоего брата.

Но Павел не обратил внимания на ее слова и продолжал перелистывать паспорт. Улыбка медленно сбежала о его лица, и он нахмурился.

– Ты часто ездишь в Германию, – сказал он.

– Да.

– Похоже, что гестапо считает тебя своим человеком.

– Почему тебе так кажется? – равнодушно спросила Ирина.

– По одной печати, которую немцы ставят только па документах своих людей. Вижу и подпись пресловутой Дитрих.

– Как видно, ты хорошо разбираешься в паспортах… Эта подпись стоит сто тысяч левов и спасает от нудной беготни по немецким канцеляриям. Впрочем, так же заверены паспорта всех тех, кто работает с Германским папиросным концерном.

– Ты хочешь сказать, что эту печать тебе поставили только для удобства?

– А для чего же еще? – удивленно спросила Ирина.

Павел умолк и положил паспорт на стол. Лицо его было по-прежнему озабочено. Ирина с огорчением заметила, что его недоверие к ней возросло.

– Сойдем вниз, – сухо предложил он.

– Как угодно, – согласилась она.

Они спустились вниз, но не остались в холле, а прошли в столовую, окна которой тоже выходили в лес. Не говоря ни слова, Павел открыл все окна, затем погасил люстру, так что столовая освещалась теперь только светом ламп, горевших в холле.

– Ты ужинал? – спросила Ирина, когда они уселись за стол и молча закурили.

– Да. Нашел в холодильнике кое-какие деликатесы, которых в продаже не бывает… Хорошо подкрепился.

– Вот видишь!.. Неплохо иметь брата-миллионера. Может быть, выпьешь чего-нибудь?

– Нет, – отказался Павел.

– А я не прочь выпить, – проговорила Ирина.

Она подошла к буфету и в полутьме начала перебирать бутылки. Но бутылок было такое множество, что она не знала, па какой остановить свой выбор.

– Тебе что больше нравится? – спросила она, разглядывая этикетки. – Есть греческий коньяк, анисовка, сливянка и вина разных сортов… Ах, вспомнила, ты ведь любишь испанские вина!

– Почему ты так думаешь?

– Потому что ты был в Испании… Во время гражданской войны.

– Кто тебе сказал?

– Борис.

– Ты, оказывается, много знаешь обо мне.

– Да, больше, чем нужно, – рассмеялась Ирина.

Она поставила на стол два стакана и бутылку какого-то французского вина – часто гостивший здесь Лихтенфельд давно уже выпил все испанские. Не дожидаясь, пока ее собеседник догадается откупорить бутылку, Ирина сделала это сама и, еще более уязвленная его недоверием, налила вино в стаканы.

– Выпьем! – сказала она с усмешкой. – За наше знакомство.

Павел даже не прикоснулся к стакану и только сказал:

– Пить я не буду. Голова у меня должна быть ясной.

– Почему? – спросила Ирина сердито. – Опасность почуял?

– Может быть, да.

– Успокойся! Ведь револьвер у тебя в кармане.

Она негромко рассмеялась. Ей стало ясно, что она не в силах рассеять его оскорбительное недоверие; остается только уйти в свою комнату. Но она не поняла, что этому виной и ее заверенный паспорт и многое другое. Она быстро поднялась с места, а он схватился за карман, в котором лежал револьвер.

– Куда ты? – спросил он сурово.

– В свою комнату.

– Сиди здесь!

– Что это значит?

– Приказ. Пока я тут, будь у меня на глазах.

– О!.. – с болью простонала опа.

Но он, не обратив внимания на ее стоп, подошел к телефону и сильным рывком оборвал провод.

– Наверху есть другой телефон, – сказала Ирина язвительно. – Надо испортить и его.

Павел снова повторил свое приказание:

– Сиди на месте!

– Не буду! – огрызнулась она. – Стреляй в спину.

И она стала подниматься по лестнице, саркастически спрашивая себя, не вонзится ли ей в спину пуля. Но Павел, видимо, понял, что она не собирается его выдать, и не стал преследовать ее.

Ирина вошла в свою комнату с знакомым смешанным чувством гнева и тоски, которое овладевало ею всякий раз, когда она стремилась к чему-нибудь, но безуспешно или же упускала то, что получила. И сейчас ей было жаль своего мучительного и сладостного порыва, который разбился о недоверие этого мужчины, вызвав у нее чувство горькой обиды и на него, и на весь мир. Комната – прохладная, свежая, залитая лунным светом – казалась Ирине похожей на роскошный склеп, в котором замуровано ее омертвевшее сердце. Она чувствовала себя униженной, и ее обуяла бессильная злоба на всю свою прошлую жизнь. Бросившись на кровать, она зарылась лицом в подушку, истерически кусая себе руку. А когда припадок прошел, тихо заплакала.

Немного погодя она услышала стук в дверь и голос, который звучал покаянно:

– Можно войти?

– Нет, – ответила Ирина.

Но так как настойчивый стук не прекращался, она поднялась, вытерла слезы и, приоткрыв дверь, спросила сердито:

– Чего тебе надо?

– Давай поговорим еще немного, – сказал Павел. И затем, чтобы успокоить ее подозрения, быстро добавил: – Сойдем вниз.

– Нет, не пойду. Наш разговор окончен.

При свете ламп, горевших в коридоре, он заметил, что ее глаза покраснели от слез.

– Я не мог поступить иначе, – объяснил он. – Мне все время приходится быть начеку. Если я попадусь, меня будут зверски пытать, да и Борис может пострадать.

– Борис? – быстро переспросила она. – Неужели ты беспокоишься за Бориса?

– Да, ведь он как-никак мой брат.

– Брат!.. – повторила она язвительно. – Нет! Никакой он тебе не брат. Борис – это ядовитая змея, и рано или поздно он тебя ужалит.

Павел бросил на нее испытующий взгляд.

– Отчего ты плакала?

– Я не плакала.

– У тебя кровь на руке.

– Никакой крови нет.

Он взял Ирину за локоть и бережно приподнял ее руку.

– Нервы у тебя не в порядке, – сказал он с сочувствием.

– Нет, у меня все в порядке.

– Оно и видно!.. Этот мир здорово тебя опустошил.

Ирина обмотала кисть руки носовым платком и, открыв дверь, пропустила Павла. Он сел на стул за круглый столик, а Ирина подошла к тумбочке и что-то проглотила.

– Что ты делаешь? – спросил он.

– Не могу заснуть и принимаю снотворное.

Через открытое окно из леса доносился протяжный вой ветра. На небе ярко сияла луна. Где-то вдалеке жужжал одинокий самолет. Из лабиринта хребтов и ущелий вырвалась красная ракета и бесшумно, как падающая звезда, пролетела над гребнем гор. Все вокруг таило в себе какую-то тихую, тревожную и жгучую неизвестность, в которой было что-то опьяняющее.

Павел снова заговорил:

– Все еще не могу решить, с которой из двух братниных любовниц сейчас имею дело – с хорошей или с плохой.

– Брат у тебя вовсе не развратник, – сказала Ирина. – У него только одна любовница.

– Ты в этом уверена? – спросил Павел с улыбкой.

– Да, – равнодушно ответила она.

– Должно быть, ему времени не хватает?

– Скорее всего, желания… Его сильнейшая страсть – копить деньги и глумиться над людьми.

Павел сдвинул брови, помолчал, потом спросил:

– А что представляет собой Зара?

– Она занимается торговым шпионажем среди немцев и за это получает деньги от Бориса.

– Красива?

– Похожа на бедуинскую принцессу.

– Мать мне писала о вас обеих… Но я не знал, кого зовут Зарой, кого Ириной.

– Между нами нет существенной разницы.

– Довольно об этом!.. Почему ты назвала брата ядовитой змеей?

– Потому что на миг испугалась за тебя.

– Только на миг?

– Да, большего ты не заслуживаешь. Ты груб и ничего не понимаешь.

– Может быть, только груб, – усмехнулся он. – А огрубел я по многим причинам, о которых ты и не подозреваешь.

Ирина ничего не ответила и только смотрела грустно, с каким-то сдержанным волнением в красивые темные глаза Павла. Лицо его было покрыто здоровым загаром, а в черной шевелюре не было ни одного седого волоса. Он выглядел молодо, хотя был на пять или шесть лет старше Бориса. Черты лица у него были резкие и правильные, без плавных переходов и полутеней. Их освещали огонь мужества, пламя страстного характера, немного сурового, но честного и открытого. Он был почти на голову выше Бориса. В каждом движении его широких плеч, его сильных рук и ног была какая-то особенная, кошачья ловкость. Его можно было бы принять за красавца спортсмена, чемпиона по плаванию или теннису, если бы не одухотворявший его лицо интеллект, который придавал всему его облику что-то драматичное, что-то бодрое, самоуверенное и твердое как скала. Но эта твердость не была похожа на узость, упрямство и безрассудное самоотрицание тех коммунистов, с которыми Ирина была знакома но медицинскому факультету. Этот человек тоже был коммунист, по другого масштаба, другой школы, пришедший из другого, далекого, огромного, неведомого и свободного мира, где всем управляют предвидение и разум, где нет места слепому фанатизму. И тут Ирина подумала, что если бы судьба свела их на десять лет раньше, то не было бы для нее ни Бориса, ни «Никотианы», ни фон Гайера, ни многих других встреч, страстей, наслаждений и извращенных удовольствий, которые успели опустошить ее душу.

– О чем еще тебе писала мать? – спросила она, с горечью сознавая, что нет ничего безнадежней того нового чувства, которое все сильнее разгоралось в ее сердце.

– Ты ей очень нравишься, – ответил он спокойно. – Она считает, что ты вполне подходишь Борису.

– Я не об этом спрашиваю, – сказала Ирина.

– А о чем же?

– Я хотела бы знать, писала ли она что-нибудь о Стефане?

– Писала, что он умер в тюрьме.

– Только об этом?

– О чем же еще?

– С арестом и смертью Стефана связано еще очень многое.

И, немного поколебавшись, Ирина начала рассказывать. Она рассказывала о жестокости братоубийцы таким ровным и тихим голосом, что казалось, будто она обвиняет не преступника, а тот мир, который его породил и который был в то же время и ее миром. Закончив, она увидела, что Павел стоит у окна, устремив взгляд на темный лес.

– Ты слышал, что я тебе сказала? – спросила она, подойдя и тронув его за плечо. – Не доверяй ему ни в чем!.. Не вздумай скрываться здесь или в его доме в Софии!.. Пока что он бережет тебя на случай революции… Но стоит событиям обернуться по-другому, он, как Иуда, передаст тебя в руки гестапо… Самое ужасное в нем то, что он даже никогда не сознает гнусности своих поступков.

Но Павел ничего не ответил, потому что мысли его были заняты маленьким ремсистом, смуглым и пылким братишкой, с которым он простился, уезжая в Аргентину, и о котором часто вспоминал и в окопах Мадрида, и в школе военных инструкторов в Советском Союзе. Ирина наклонилась и, заглянув ему в лицо, заметила при свете луны, как он старается не выдать свое тяжелое немое горе. Губы его были стиснуты, а веки судорожно трепетали. Но в глазах его не было слез. Этот человек не мог плакать.

В это время из леса донесся какой-то жалобный стон, напоминавший крик совы.

– Мои люди подходят, – сказал Павел и быстрыми шагами направился к двери, словно сразу забыв обо всем, что произошло в этот вечер.

– Ты вернешься? – спросила Ирина обиженно.

– Нет! Ухожу с ними.

Она повторила гневно:

– Я спрашиваю, ты вернешься?… Когда-нибудь?

Он ответил небрежно:

– Да, может быть!.. Когда кончится борьба.

И тогда она почувствовала, что мгновенно перестала для него существовать, и ей стало горько и обидно, ибо она не знала, что он живет только борьбой. Она подошла к окну и стала смотреть па примыкавший к вилле пустырь, па котором была разбита теннисная площадка. Сетки и корт заросли бурьяном, который резкими тенями выделялся на светлом песке. Из леса веяло сыростью, пропитанной запахом папоротника и смолы. Жалобный крик совы повторился еще несколько раз. Ирине почудились в нем звуки, похожие па человеческий голос. Немного погодя она увидела тень Павла, углублявшегося в лес.

Ирина закрыла окно: ей захотелось спать. Люминал начал действовать.

**V**

Пройдя мимо запущенной теннисной площадки, Павел подошел к кирпичной ограде, которая отделяла задний Двор виллы от склона, поросшего соснами. Он ловко перемахнул через ограду и спустя минуту был уже в лесу, густом и непроглядно темпом даже в эту лунную ночь. Крик совы, страшно напоминающий человеческий голос, звучал все настойчивее.

Павел негромко свистнул два раза.

– Пароль! – хрипло выкрикнул кто-то из темноты.

– Девять, – сказал Павел.

– Пятьдесят четыре.

Но этого оказалось недостаточно, и Павла спросили строгим голосом:

– Где находится Тегеран?

– На Рыбачьем полуострове, – ответил Павел.

Наступило молчание: по-видимому, неизвестные колебались.

– Ну что? – нетерпеливо спросил Павел.

– Иди сюда, – послышалось в ответ.

Метрах в десяти от него, между сосен, в зарослях папоротника, вспыхнул слабый свет фонарика с истощенной батарейкой, и тьму прорезал снопик желтоватых лучей. Павел пошел на огонек. Люди, которые вышли ему навстречу, не знали, кто он. Да им и не положено было знать это. Им только приказали отвести его в штаб оперативной зоны, где он должен был ознакомиться с обстановкой и Припять командование отдельной бригадой, которая действовала в Южных Родопах и время от времени входила в контакт с красными отрядами ЭАМ.52 Задание это было трудное и ответственное, по партия рассчитывала на Павла. Нелегко было согласовывать действия греков и болгар даже тогда, когда и те и другие были коммунистами. Они подозревали друг друга в неискренности, и виной тому были многовековое прошлое этих двух народов. Павел знал, какие предстоят трудности, но пока не задумывался о них.

Слабенький фонарик вспыхнул еще раз и потух: его обладатель бережливо расходовал скудный остаток энергии. Павел зажег свой фонарик со свежей батарейкой и синей лампочкой, свет которой нельзя было заметить издалека. И тут он увидел нескольких человек: они залегли в папоротнике, готовые выстрелить по первому знаку. Дула их автоматов смотрели па него угрожающе, словно зловещие маленькие глазки. Стрелки расположились веером – так, чтобы в случае неожиданного нападения держать под обстрелом не менее трех направлений.

– Он? – спросил владелец фонарика, направив его анемичный свет в лицо Павлу.

– Он самый! – ответил женский голос.

– Откуда ты меня знаешь? – спросил Павел.

Женщина не ответила. Павел с удовлетворением понял, что товарищи из штаба прислали за ним людей молчаливых и опытных.

Они обменялись еще несколькими словами, также чуть слышно. Потом партизаны встали, и все потянулись гуськом вверх по крутому склону. Мокрая и скользкая хвоя осложняла и без того трудный подъем. Все молчали – из предосторожности, от усталости или из-за плохого настроения. Спустя полчаса они вышли из тени, которую вершина горы отбрасывала на склон, и мрак поредел. Сквозь ветви сосен пробивался серебристый лунный свет, и в этом чахлом свете Павел все-таки смог различить силуэты своих спутников. Их было четверо – трое мужчин и одна женщина, невысокая и сухощавая, но проворная, как ласка. Она была одета по-мужски, и только пышные волосы отличали ее от мужчин.

Человек с фонариком шел впереди и вывел маленький отряд на горную тропу. Идти стало удобней. Они ужо далеко отошли от дачного поселка, и им больше но грозила опасность наткнуться на секретные посты, охраняющие резиденцию царя. Над тропой, что вилась между соснами, показалась узкая полоска неба, и стало светлее. В лесу царила полная тишина, в холодном воздухе стоял запах озона и смолы.

Павел шел в нескольких шагах позади женщины. Уже светало, и он теперь видел в предутреннем сумраке, что па пей была брезентовая куртка защитного цвета, потертые брюки-гольф и полуботинки на резиновой подошве, в которых она ступала бесшумно и легко, как волчица. Когда же она повернула голову, Павел увидел в профиль ее лицо – исхудалое, заострившееся и настороженное, как у всех нелегальных. На вид она была не первой молодости.

– Ты сегодня слышал радио? – внезапно спросил человек с фонариком, оглянувшись.

Вопрос был задан вполголоса, и Павел его не расслышал.

– Мичкин спрашивает, слышал ли ты сегодняшнюю сводку Советского информбюро, – объяснила женщина.

– Нет, – ответил Павел. – Я был занят.

– Это мы видели, – заметила женщина саркастическим тоном.

– Что ты видела? – спросил Павел.

Он не получил ответа. Женщина отстала от спутников и, наклонившись, принялась завязывать шнурки своих полуботинок. «Занозистые ребята!» – решил Павел. Потом подумал, что они ведь скитаются но горам, как голодные, загнанные звери, и поэтому трудно ожидать от них любезного обращения. Может быть, они видели в освещенном окне его с Ириной и разозлились. Но что бы они ни видели, это их не касалось.

И все же ему было немного стыдно при мысли о том, что могут подумать про него товарищи. Этот вечер смутил и расстроил его. Ирина даже переодеться ему помешала. Свою походную одежду он принес в узле, который сунул под мышку, как только услышал сигнал товарищей. Ни разу в жизни он не выполнял партийного поручения так неаккуратно. История гибели Стефана казалась ему чудовищной, и он с трудом верил в это. Л что, если женщина просто хотела отвлечь его внимание от подозрительной печати гестапо в паспорте? Но, хоть Ирина и не заслуживала доверия, ей удалось разжечь в Павле давнюю ненависть к Борису. Ее рассказ ничуть не противоречил тому, что Павел слышал о смерти Стефана, и верно отражал характер среднего брата. Уже в детстве Борис был нелюдимым, озлобленным, уже тогда в нем жила эта холодная, расчетливая подлость. Однако, несмотря на все это, история Стефана казалась Павлу невероятной.

Еще долго он шел, поглощенный скорбными мыслями об умершем брате. Но вот образ Стефана побледнел, и Павел снова вспомнил Ирину. Не часто приходилось ему видеть таких красавиц и па родине и на чужбине. Душа ее, конечно, была развращена, но в красоте ее чувствовалось что-то здоровое, теплое и нежное, что-то чуждое миру, в котором она жила. Затем он опять вспомнил про отметку в ее паспорте и обозлился. Ко всем чертям эту бабу!.. Очень неприятно, если товарищи видели ее в окне.

Человек, которого звали Мичкиным, махнул рукой и, внезапно свернув, стал подниматься по склону пади. Снова начался крутой и утомительный подъем, который затянулся на целый час. Женщина то и дело скользила, падала па колени и всякий раз жалобно и сердито вскрикивала. Павел вернулся к ней, чтобы подать ей руку, но женщина сама встала на ноги, отказавшись от помощи. Она была вооружена всего лишь крохотным никелированным револьвером, который висел на веревочке у нее на шее. Женщины из другого мира носят так на цепочке золотые часики. Ее маленькое, усеянное веснушками лицо не было ни безобразным, ни красивым. Оно было бы миловидным, если бы на нем не застыла сердитая гримаса, вызванная частыми падениями, и если бы взгляд ее серых, почти бесцветных глаз не был таким пронзительным.

Наконец они поднялись на гребень хребта и сели отдохнуть, с трудом переводя дух после тяжелого подъема в разреженном воздухе. Лес кончился и остался далеко внизу. Для привала выбрали небольшую полянку, со всех сторон огражденную высокими скалами – надежное укрытие. Трава здесь была еще мокрой от ночной росы, но Мичкин бросил на нее свой продранный кожух, лег и почти мгновенно заснул, не выпуская из рук винтовки.

Это был рослый краснолицый мужчина лет пятидесяти, давно не бритый и со свежим шрамом на щеке. Он был в царвулях и крестьянских шароварах из домотканого сукна. Второй мужчина, по-видимому рабочий, был вооружен автоматом, одет он был в бриджи и шерстяной свитер. Руки у него были огрубелые, а лицо болезненное и умное. Как только отряд остановился на отдых, он отошел к подножию самой высокой скалы и, закутавшись в одеяло, занял сторожевой пост. Третий, совсем еще юный, почти мальчик, в сапогах и военной форме, был, вероятно, солдатом, бежавшим из казармы. Он тоже держал в руках автомат. Женщина села в стороне и сразу же стала переобуваться – очевидно, полуботинки были ей не очень впору.

Уже совсем рассвело, и Павел внимательно всматривался в лица товарищей. Почти все они казались ему бывалыми борцами, закаленными коммунистами, которые отчетливо понимают, в чем их долг, и не склонны к чрезмерной восторженности. У женщины было интеллигентное лицо, но оно еще не утратило сердитого выражения; всем своим видом она показывала, что ей не до разговоров. Небритый мужчина громко храпел, а солдат молча снял с ноги сапог и рассматривал ранку на пятке. Павел подошел к человеку с автоматом, стоявшему у скалы, присел рядом с ним и предложил ему сигарету, но тот не взял ее и только показал рукой на грудь. Вероятно, у него были слабые легкие.

– Мы ждем, что ты нам расскажешь много новостей, – негромко проговорил он.

– Почему? – спросил Павел.

– Лукан говорил мне, что ты вернулся из Советского Союза. Я – ответственный по группе… Он наказал мне в случае опасности беречь тебя как зеницу ока.

– Я этого не стою, – рассмеялся Павел. – Как у вас идут дела?

– Боремся… Но не хватает оружия, и с продуктами туговато… Зима была трудная… Пятеро товарищей погибли от голода и стужи.

– Везде тяжело, – сказал Павел, глядя на обросшую лишайником скалу. – Придется зимовать еще раз.

– Да, второго фронта не дождешься.

– Ты чем занимаешься?

– Табачник. Заработал смертный приговор, но удалось бежать из тюрьмы.

– Тебе повезло. А из какого ты отряда?

– Имени Станке Димитрова.

– Кто у вас командир?

– Динко.

– А политкомиссар?

– Шишко.

– Слышал о них. Что за человек Динко?

– Хороший, – ответил рабочий после недолгого колебания.

– Ты, как видно, не очень в этом уверен.

– Ты прав, не очень… Но может быть, я ошибаюсь.

– Я тебя спрашиваю как коммунист коммуниста.

– Понимаю! У Динко большие неприятности со штабом. Лукан обвиняет его в превышении власти. Наверное, будет партийный суд.

– Вот как!

– Да! Партия не терпит своеволия. Динко приказал атаковать железнодорожную станцию, хотя политкомиссар на это не соглашался.

– Чем же кончилась операция?

– Ничем!.. Станция была укреплена дотами. Трое товарищей погибли зря.

– Может, у Динко были свои тактические соображения?

– Не было их! – Рабочего знобило, и он крепче закутался в одеяло. – Просто он увидел в бинокль, что в деревне возле станции стоит машина Морева, табачного фабриканта… Вот ему и приспичило пустить в расход этого Морева… А зачем, какой в этом смысл? Ребячество.

Павел вздрогнул, но ничего не сказал; он по-прежнему пристально рассматривал обросшую лишайником скалу. Погасив окурок, он спрятал его в пустую спичечную коробку, которую сунул в карман. Нельзя было оставлять после себя следов.

– Ну, а потом что было? – спросил он сдавленным голосом.

– Ничего… Отбросили нас… А Морев уехал целый и невредимый.

– Когда это было?

– Да с месяц назад, – ответил рабочий. – Лукан тут же снял Динко с командования. С тех пор положение без перемен. Наверное, ждут, что ты скажешь.

– Динко сделал ошибку, – сказал Павел.

– И я ему так говорил, когда они с комиссаром спорили. Товарищ командир, говорю, неразумно рисковать людьми, чтобы поймать какого-то торгаша. Торгаши не по нашей части. Ты чересчур разбрасываешься, неправильно это… Я человек простой, говорю, без образования, но я так думаю… А он кричит на меня, что я, дескать, подрываю дисциплину, расстрелом грозит. Горячая голова, но храбрец. Да, храбрый малый и умный. Тут и спорить не о чем.

Павел на это не отозвался.

– А женщина что делает у вас? – спросил он немного погодя.

– Лечит больных и ведет просветительную работу. Она много училась. Ленина наизусть знает.

Павел улыбнулся.

– Она не из разговорчивых, – заметил он.

– Малость нелюдима, – согласился рабочий. – А когда сердита, не попадайся ей на глаза.

– Как ее зовут?

– Варварой… Только это партийная кличка.

– А настоящее имя?

– Не знаю… Она еврейка, была замужем за болгарином.

– Муж где?

– Был в нашем отряде, но в прошлом году его убили.

Павел задумался. Как сурова жизнь этих людей! Ошибка здесь перерастала в тяжкое преступление, человеческая слабость – в порок. А храбрость и мужество, которые они каждый день проявляли в борьбе с лишениями, считались в их среде просто исполнением долга.

Павел загляделся на горы. Первые красноватые лучи солнца обагрили ближние пики, и они поднимались, как островки, из моря прозрачного тумана, затопившего долины. Стояла глубокая тишина. Ни один звук не нарушал безмолвия ущелий. На юге расстилался бескрайний лабиринт горных цепей, которые уходили вдаль, насколько хватал глаз, становясь все более и более призрачными и наконец растворяясь в голубой дымке у горизонта. Грозное нагромождение гор внушало страх и вместе с тем ощущение безопасности. В этих густых темно-зеленых лесах, в этих глубоких и сырых долинах, по которым ползли туманы, среди этих скал и каменистых обрывов партизаны были неуязвимы. Меткий стрелок, засевший с карабином у какой-нибудь козьей тропки, мог задержать две сотни полицейских и вынудить их искать другую дорогу. Замаскированный в скалах пулемет обращал в бегство целый пехотный батальон. Вряд ли можно было найти местность более подходящую для партизанских действий. В горах царили непокоренные. Горы – ведь это не то, что равнина, по которой мотомехчасти могут двигаться молниеносно и неожиданно окружать противника, загоняя его в мешок. Но зато здесь были другие трудности: долгие переходы, крутые подъемы, сырость ущелий и пронзительный горный ветер требовали железного здоровья. Павел бросил сочувственный взгляд на измученную тяжелым подъемом женщину, которая сидела, понурившись, в стороне. Почти такой же изможденный вид был и у паренька в солдатской форме, и у слабосильного рабочего. Всем им, наверное, до смерти хотелось спать, но они еще не остыли от подъема и поэтому не решались прилечь. Только Мичкин, очевидно выросший в этих местах, не боялся холодной сырости и спал крепким сном.

Немного погодя выглянуло солнце и осветило скалы, где отдыхал утомленный маленький отряд. Мокрая трава заискрилась мелкими капельками росы.

– Пора, – заметил рабочий.

– Отдохнем еще немного, – попросил солдат, обтирая о росистую траву распухшие ноги.

– Тогда я поразомнусь… Что-то озяб.

Поеживаясь от холода и одной рукой придерживая накинутое па плечи одеяло, а другой прижимая к себе автомат, рабочий отошел в сторону. Павел направился к женщине. Она подняла голову, и ее серые глаза холодно блеснули, встретив его взгляд.

– Откуда ты меня знаешь? – спросил он с улыбкой.

– Было время, когда ты занимался романской филологией и разглагольствовал на литературные темы, – насмешливо и враждебно ответила она.

– Это верно… А ты не из той ли компании, которая собиралась в кафе «Кристалл»?

– Нет! В ту компанию принимали только тех, кто воображал себя поэтом, а я не страдала этой манией.

– Да, так оно и было.

– Ты тогда писал бездарные стихи, – напомнила она.

– И это верно. Но тогда встречались женщины, которые сочиняли скверные рассказы.

– Да. но они по крайней мере были скромны… А ты всем расписывал, что превзошел Смирненского53 и вот-вот догонишь Маяковского.

– Приятный самообман. – Павел добродушно улыбнулся. – Ну, а ты чем занималась тогда?

– Работала портнихой и училась в Свободном университете.

– Мы были знакомы?

– Да, как-то раз вместе ходили в Ючбунар агитировать.

– Только это ты и запомнила про меня?

– Нет! Осталось в памяти и кое-что другое. Ты был смельчаком и в наших выступлениях всегда был первым. Голова у тебя работала быстро и хорошо. Эти-то твои качества, должно быть, и помогли тебе сделаться важной персоной. Иначе за тобой не послали бы четырех человек из штаба, которым пришлось шататься всю ночь.

– Очень жалею, что это задание пришлось выполнять тебе.

– Я тоже. Противно было ждать, пока ты наговоришься с той женщиной. Ты разве не слышал сигнала?

– Нет.

– Странно.

– Ничуть не странно. Та женщина рассказывала мне, как погиб мой брат.

– Значит, я ошибаюсь. – Варвара язвительно усмехнулась, – А я было подумала, что она твоя любовница.

– Неприятно, если товарищи тоже так подумали.

– Успокойся! Ее видели только Мичкин и я. Товарищи остались в лесу, а я отправилась на разведку.

– Судя по всему, ты отличная разведчица.

– Вовсе нет. Просто я самая бесполезная. Если бы мы наткнулись на засаду, то поймали бы только меня.

– Теперь ты скромничаешь. Ты в чьем отряде?

– В отряде Динко.

– Что с ним произошло?

– Он теперь похож на тигра, которого превратили в щенка. И все это по милости Лукана.

– Я бы тоже поступил, как Лукан.

Женщина отвернулась и посмотрела на рабочего, который стоял на карауле. Солнце уже поднялось над скалами, но капли росы все еще сверкали в траве. Прозрачный голубоватый туман, заполнявший долины, стал рассеиваться. Из леса сильней потянуло запахом папоротника и смолы. Солдат и Мичкин крепко спали.

– А другого оружия у тебя нет? – спросил Павел.

Женщина пренебрежительно взглянула на маленький никелированный револьвер, висящий у нее на шее. Точь-в-точь такими револьверами пользуются герои кинофильмов в сценах салонных убийств.

– Другого нет, – хмуро ответила она.

– Ты носишь его, как драгоценность.

– А он и вправду драгоценность. Четвертая часть наших людей почти безоружна.

– Ну, оружие мы скоро раздобудем, – уверенно сказал Павел.

Она презрительно промолчала, очевидно считая его слова пустым хвастовством.

– А что было потом? – спросила она внезапно.

– Когда «потом»?

– После романской филологии и прочего?

– Ничего. Из Аргентины меня выслали, затем я участвовал в испанской войне.

– А сейчас ты вернулся из Советского Союза?

– Да, – сухо ответил он. – Но об этом болтать по следует.

– Никто и не собирается болтать, – сердито буркнула Варвара.

Она поморщилась и встала. Со скалы спускался бывший табачник с одеялом на плечах.

– Хватит, – сказал он и, растолкав заснувшего солдата начал свертывать свое одеяло.

Солдат в свою очередь принялся трясти Мичкина, а тот, проснувшись, громко вскрикнул, схватился за винтовку и подскочил. Глядя на него, все покатились со смеху – пробуждение Мичкина, как видно, всегда служило им развлечением. То была одна из редких минут, когда партизаны смеялись. А смеялись все, даже Варвара, и ее блестящие пронзительные глаза улыбались весело и задорно. Так, наверное, смеялась эта женщина до того, как начались гонения на евреев и она нацепила на шею маленький никелированный револьвер.

Мичкин поднялся, насупившись, и что-то проворчал, раздосадованный смехом товарищей. Немного погодя все начали спускаться в долину, следуя друг за другом в боевом порядке. По-прежнему во главе отряда шел Мичкин. Когда они спустились на дно долины, он снова повел товарищей в гору к верховьям речки, придерживаясь какой-то едва видимой тропки. Русло поднималось круто вверх, становясь все более каменистым. Наконец тропка исчезла совсем. Мичкин остановился.

– Разувайся – и по воде! – хрипло скомандовал он.

Лица у всех вытянулись, но никто не сказал ни слова. Павел догадался, что партизанский лагерь где-то недалеко. Ведь к нему не должно быть никаких следов. Начался трудный и утомительный подъем по руслу бурливой реки. Вода была холодная как лед. Между шаткими, скользкими камнями шныряли форели и плоские водяные червячки. Солдат рукой поймал форель и положил ее в сумку. Павел брел по воде, сутулясь и стиснув зубы; узелок он нес под мышкой. От ледяной воды нестерпимо ломило ноги. Они посинели и застыли, а вскоре так онемели, что он перестал чувствовать, на что наступает. Бывший табачник глухо стонал. Варвара и солдат отстали. Один лишь Мичкин бодро шагал вперед, словно ходьба в ледяной воде ничуть его не затрудняла. Спустя четверть часа он обернулся и так же громко и хрипло крикнул:

– Вылезай!

Один за другим все выбрались на берег и, усевшись на припеке, стали обуваться. Павел оглянулся, ища глазами Варвару. Она скорчилась и тихо стонала, оттирая посиневшие ноги. Однако Павел не подошел к ней, зная, что это вызовет ее раздражение.

– Лагерь тут, близко, – сказал рабочий, поднимаясь и морщась от боли в ногах. – Незачем делать привал.

Мичкин повел отряд дальше. Он свернул в сторону и, отойдя от реки, направился вверх по отлогому горному лугу, усеянному валунами и кустами можжевельника. На открытом месте у всех сразу стало легче на душе. Гнетущий сумрак и сырость ущелий сменились ярким солнцем и теплом. Ослепительно сияло безоблачное небо, а из трещин в скалах выглядывали эдельвейсы. Вдали голубела снежная вершина. Было тихо, светло и радостно. Казалось, что гнет и насилие остались где-то далеко позади. Павлу хотелось запеть, но он сдержался, чтобы не вызвать неудовольствия товарищей.

– Где же лагерь? – спросил он.

– В седловине, мы ее сейчас увидим, – ответил рабочий. – Место очень удобное. Издали совсем незаметно.

– А где дозорные?

– Я тоже никак не пойму, куда они делись. Они должны были стоять у реки и за теми вон скалами.

– Почему же их там не оказалось?

– Возможно, товарищи перенесли лагерь па другое место.

– Надо двигаться осторожно.

– Да, – согласился рабочий. – А то в одном отряде перебили семь человек… Они шли к себе в лагерь, а фашисты устроили там засаду. – Он громко крикнул: – Мичкин, замечаешь? Дозорных нет.

– Вижу, – небрежно ответил Мичкин со спокойствием человека, знающего свое дело.

Пройдя еще немного, он остановился возле группы высоких скал и знаком подозвал к себе товарищей. Павел поспешил к нему. Отсюда седловина была видна как на ладони. Место это казалось укромным и удобным, но от лагеря там и следа не осталось. Седловина была сейчас такой же безлюдной и голой, как и весь широкий гребень хребта. Лишь кое-где на ней темнели густые заросли можжевельника и чахлые сосенки, которые сбегали вниз по склону, становясь все более и более крупными и частыми и наконец сливаясь с лесом. Один за другим партизаны подтянулись к скалам и, остановившись, разочарованно смотрели на покинутую стоянку, где следы пребывания людей были тщательно уничтожены. Варвара в изнеможении бросилась на траву.

– Кто-то идет, – сказал Павел.

– Это Андон, – отозвался Мичкин. – Его оставили для связи.

К скалам со стороны седловины к ним медленно приближался невысокий, обросший щетиной человек в меховой безрукавке и бриджах. За плечом у пего висели винтовка и сумка с едой. Он жевал на ходу хлеб с брынзой.

– Здравствуй, Андон! – крикнул Мичкин. – А где остальные?

– Перебрались к Пещерам, – невозмутимо ответил Андон. – Сюда идет пехотная колонна с минометами. Но сегодня-завтра здесь будет жарко.

**VI**

Динко чувствовал себя глубоко несчастным. В тысячный раз вспоминал он во всех подробностях свою непростительную ошибку. Его не арестовали, у него не отобрали оружия, но отстранили от командования отрядом. Ночью он ложился в стороне от товарищей, под навес из сосновых ветвей, а вокруг в молчании стояли облитые лунным светом горы. Днем он наравне с другими делал укрепления для пулеметных гнезд. Работал до изнеможения, но заснуть не мог: тяжелые мысли отгоняли сон. В его сознании теснились скорбные, укоряющие образы товарищей, которых он послал на смерть в припадке гнева на враждебный мир.

Гнев этот вспыхнул мгновенно, как только Динко увидел длинный черный лимузин, приближавшийся со стороны Беломорья, а потом разглядел в бинокль вышедшего из машины ненавистного человека. Его обуяла слепая ярость, превратившаяся в неодолимое желание уничтожить этого человека. Зачем он поддался чувству личной мести? Зачем пожертвовал своими лучшими людьми? Зачем приказал идти в атаку? На эти вопросы он не мог дать себе ответа, но все последующие события помнил с убийственной ясностью. Нападающие наткнулись па ураганный огонь пулеметов и автоматов. Для защиты складов немцы соорудили бетонированные доты. Атака закончилась полным провалом. А йотом, когда отряд отступил в горы, Динко увидел в бинокль чернеющие па перроне трупы товарищей. Отряд потерял трех бойцов. Разве можно было оправдать это?

Как-то ночью, думая о своем поступке, Динко пришел в такой ужас, что почувствовал себя раздавленным. И тогда в ночной тишине, которая показалась ему страшной, он услышал голос партии: «Ты недостоин поста, который тебе доверили. Ты не настоящий коммунист». – «Почему? – оправдывался Динко. – Ведь мне приказано наносить удары по врагу… Не все ли равно, где и как?» А голос партии, разгневанный его возражениями, звучал в ответ: «Да, но никто не приказывал тебе нападать на станции, которые, как тебе известно, укреплены дотами и пулеметными гнездами… Ты повел людей в атаку только потому, что хотел убить ненавистного тебе человека. Верно, что он подлец и враг народа, но ты был ослеплен личной враждой, ревностью, безнадежной любовью к женщине. А это недостойно коммуниста. Ты должен бороться не против отдельных личностей, а против той системы, которая калечит души людей».

Голос умолк, заглушённый жестокими укорами совести, которые терзали Динко. Мысль об убитых товарищах мучила его невыносимо. Из груди его вырвался хриплый, прерывистый вздох. Омерзительно было и то, что сам он остался невредим. Может быть, это вышло случайно?… Нет, не случайно. Просто он оказался сзади. Во всех прежних схватках он шел первым, подвергаясь опасности наравне с товарищами, а на этот раз укрылся за грудой мешков с цементом, чтобы остаться невредимым и собственными руками захватить, а потом убить человека, которого он ненавидел всей душой. Даже товарищи его были удивлены необычайной осторожностью своего командира. Все, что он делал в тот день, теперь казалось ему чудовищным.

И тогда он подумал, что не имеет права жить. От этой мысли ему стало легче – она несла надежду на искупление. Рука потянулась к поясу и нащупала тяжелый дальнобойный пистолет, с которым он никогда не расставался. Одна пуля – и ошибка будет искуплена. Но тут Динко снова услышал властный голос партии, голос тысяч сердец и тысяч умов: «Не смей!.. Твоя жизнь давно ужо принадлежит мне. Только я вправе распоряжаться ею».

Местные жители, сочувствующие партизанам, направили отряд карателей по ложному следу. Два дня прошли спокойно, и партизаны без помехи обосновались на повой стоянке возле Пещер.

Павел горел желанием поскорее встретиться с Лилой, но оказалось, что она обходит оперативную зону с каким-то поручением. Двенадцать лет они не виделись. Все это время он думал о ней, и когда его томила тоска по родине, и когда он видел в лицах других женщин отдаленное сходство с ней. И тогда им овладевали печаль, чувство неудовлетворенности и влечения к чему-то, словно в его бурной жизни, насыщенной борьбой и работой, чего-то не хватало, словно судьба, ревниво оберегавшая его от всех опасностей, была к нему несправедлива, отказывая ему во встрече с Лилой. Эта женщина влекла его к себе чем-то глубоким и сильным, чему он сам не мог дать названия. Видал он красивых испанских работниц с темными глазами и янтарными лицами, которые подносили патроны в окопы и умирали как героини. Видал он синеглазых, крепких, свежих, как весна, советских девушек, которые строили новые промышленные города в тайге и восхищали его своей жизнерадостностью. Видал он под небом многих стран, как хороши и мужественны женщины-труженицы, но ни одна но могла затмить образ Лилы. И мешали этому не только воспоминания о ее любви, чистой и немного терпкой, как несозревший плод. С течением времени Павел понял, что Лила дорога ему тем, что в пей живо все, чем его влечет к себе родина. Ее горячие влажные уста манили не только поцелуями, но и пленительной силой родного говора; ее акварельно-нежная красота напоминала о мягком южном пейзаже; болгарская строгость нравов сочеталась у нее с неподдельной искренностью девушки из народа. С Лилой были связаны воспоминания о тихих теплых вечерах и предрассветной свежести в родном городке, о дорогих ему нравах и обычаях, о многих мелочах и событиях, которые хоть и не имели отношения к борьбе, но были одинаково близки каждому болгарину. Лила – это родина.

Павлу не удалось повидаться с ней в Советском Союзе, так как они попали не в одну школу, а после окончания были посланы на работу в разные места. Но время от времени болгарские эмигранты, с которыми он встречался, рассказывали Павлу о ее успехах. Постепенно в его воображении возник образ зрелой женщины, может быть несколько придирчивой и строгой, но одаренной достоинствами опытного партийного работника. Так же красива ли она, как прежде, спрашивал он себя. Может, жизнь в подполье – ведь Лила вернулась в Болгарию на четыре года раньше его, – может, возраст, трудности и напряженная борьба иссушили ее красоту и набросили на ее лицо грубую сетку морщин и складок?… Людям, как и цветам, суждено увядать. Павел не удивился бы, увидев перед собой располневшую или же, наоборот, тощую, согбенную женщину. Но какой бы она ни оказалась, это уже не могло повлиять на его любовь, на то глубокое и прочное чувство, которое влекло его к Лиле.

Вечера Павел проводил в разговорах с Луканом и новым знакомым – майором, членом партии с первой мировой войны. Они вдвоем возглавляли партизанский штаб и подробно ознакомили Павла с обстановкой и людьми. Лукан изменился во многом. Бывший левый сектант встретил своего прежнего противника сердечно и с открытой душой, не допуская и мысли, что Павел будет высокомерно попрекать его за прошлое. Он не ошибся, и между ними сразу же установилось полное взаимопонимание. Партия стерла все следы их прежней неприязни.

Майор, несмотря на трудности партизанской жизни, напоминал аккуратного пенсионера. Невысокий, сухощавый, с большим лбом и лысым теменем, он уже не раз руководил повстанческими отрядами. Он ходил в солдатских бриджах, подкованных сапогах и офицерском кителе старого покроя, с высоким и твердым воротником, но без погон со звездочками, какие носили офицеры царской армии, выбросившей его из своих рядов и наградившей заочным смертным приговором. Китель сохранила для него сестра. Этот человек уцелел, пережив два революционных периода, потому что он умел вовремя уходить за границу. Его тактическое мышление развивалось свободно, недаром он изучал боевой опыт Красной Армии, в то время как военная мысль его бывших товарищей по училищу, теперь дослужившихся до генеральских чинов, совсем зачахла, скованная уставами столетней давности. И поэтому операции, которые он разрабатывал совместно с Луканом, нередко приводили этих генералов в исступление. Отличительной его чертой было внимание к мелочам. Среди личных вещей он таскал с собой удивительные предметы, как, например, лупу для чтения мелких надписей, машинку для точки безопасных бритв, учебник по астрономии и логарифмическую линейку.

Павел сообщил товарищам о задаче, которую возложили на него Центральный Комитет и Главный партизанский штаб. Потом рассказал им свежие новости об Отечественном фронте, обрадовал их вестью, что казнь Блаже отложена, сообщил о новых переговорах с буржуазными партиями. В лунные ночи, пронизанные холодом и залитые фосфорическим светом, они допоздна засиживались на полянке перед пещерой, в которой помещался штаб отряда.

– Где произойдет встреча? – спросил Лукан.

– На вилле моего брата в Чамкории.

– Кто будет присутствовать?

– Наши товарищи из Отечественного фронта и так называемая «легальная оппозиция». Опасности никакой нет. Нам тоже необходимо прощупать почву, ничем себя не связывая.

– А если «легальная оппозиция» выдаст наших товарищей немцам?

– Сейчас им это невыгодно: лидеры «оппозиции» считают, что Отечественный фронт – лошадка, которую при помощи англичан легко можно будет оседлать сразу же после перемирия… Без этой лошадки им не справиться с народом.

Наступило молчание. Луна заливала все вокруг бледно-зеленым светом, в котором лес и каменистые осыпи выделялись четко, но утратив свой естественный цвет. Временами веял легкий ветерок.

– Где майор? – спросил Павел.

– Наверное, пошел спать… Быть может, он решил, что мы хотим поговорить о прошлом, и не желает нас стеснять.

– Я не думаю о прошлом, – сказал с улыбкой Павел.

– А я все еще думаю! – негромко произнес Лукан. – Теперь я вижу, как вы были правы во многом. Бедный Блаже! Ведь это я потребовал от Лилы, чтобы и его исключили. Мне будет очень тяжело, если его не удастся спасти.

– Надо организовать его побег, – сказал Павел.

– Майор уже занялся этим делом. У нас есть свои люди среди солдат, охраняющих концлагерь. А знаете, товарищ Морев, чтo меня удивляет больше всего? – Голос Лукана опять снизился почти до шепота. – С вами и Блаже я всегда нахожу общий язык, а вот с Лилой частенько бывают перепалки…

– Это оттого, что вы до сих нор подозреваете друг друга в сектантстве.

– Да! Мы никак не можем простить друг другу прежние ошибки.

– Успокойтесь! – сказал Павел. – То, что вы сделали потом, с лихвой искупает их.

Они снова умолкли, и каждый задумался о своем прошлом. Но вспоминали они не одно и то же.

– Я не виделся с Лилов больше двенадцати лет, – неожиданно промолвил Павел. – Как она теперь выглядит?

Лукан вздрогнул, оторвавшись от воспоминаний о том, как он бесплодными директивами мешал стольким партийным организациям.

– Вы ее увидите завтра, – ответил он.

И чуть заметно усмехнулся.

Варвара обычно просыпалась па рассвете от ревматических болей в ногах. Солдатское одеяло – единственное, чем она могла укрыться, – пропитывалось ночной сыростью, и тогда ее тщедушное тело начинало дрожать от холода.

Вот и сейчас, еще не совсем проснувшись, она несколько минут пролежала в дремоте, где-то на грани между сном и бодрствованием, глядя на белесый предутренний свет, просачивающийся с востока. Тихо шумели темные сосны, а над ними все еще трепетали звезды.

Варвара была уже увядшая женщина. Последние пятнадцать лет ее жизни прошли в бедности и гонениях. Она родилась в семье бедного раввина, окончила университет, трудом добывая средства к жизни, и с головой ушла в революционную работу. Жизнь не принесла ей никаких радостей, если не считать недолгой связи с человеком, которого убили полтора года назад. В этой связи любви не было, была только трезвая верность друг другу, только дружба единомышленников.

Варвара стала думать о своих сегодняшних обязанностях. Она считала, что партийное просвещение в отряде не стоит на должной высоте. В отделении Мичкина один студент превратно толковал крестьянский вопрос, а ликвидация неграмотности затянулась. Надо достать карандаши и бумагу, заставить сорокалетних мужиков учиться, как детей. В отряде несколько человек заболели чесоткой; нужно было их вылечить, чтобы предотвратить распространение болезни. Варвара деспотически заставляла чесоточных мазаться мазью ее собственного изготовления – из серы, свиного сала и стиральной соды, – рецепт которой она нашла в каком-то справочнике для фельдшеров. Один боец был болен малярией, и Варвара упорно лечила его чесноком, так как хинина не было, а она внушила себе, что его могут заменить едкие летучие вещества чеснока. У некоторых бойцов так изорвались рубахи, что невозможно было на них смотреть. Пришлось силой стянуть с них эти рубахи и заняться починкой. И еще много подобных мыслей теснилось в голове у Варвары на рассвете. Все это давало ей право энергично вмешиваться в личные раздоры этих суровых мужчин, которые довольно пренебрежительно отзывались о ее боевых качествах и с некоторой досадой выслушивали ее наставления. А она не давала им покоя, беспрерывно стыдила их, уговаривала, бранила и наставляла на путь истинный. Подчас она перебарщивала, и мужчины тогда попросту говорили ей, чтобы она убиралась с глаз долой. После этого она несколько дней ходила молчаливая и огорченная, пока обидчики снова не являлись к ней за помощью или советом.

Когда совсем рассвело, она встала, наскоро причесалась и уложила одеяло в ранец. От движения она немного согрелась, и боль в ногах утихла. Алое сияние зари и свежий смолистый воздух приятно взбодрили ее. Приближался последний час ненавистного мира. Красная Армия наносила немцам удар за ударом, силы сопротивления крепли, партия уверенно и умело руководила борьбой. Варвара была женщина трезвого ума и не любила фантазировать, но каждое утро отдавалась одной и той же мечте: чисто вымытой и опрятной прийти на партийное собрание с докладом под мышкой. Собрания были ее стихией, а красноречие – ее талантом.

Подойдя к ручью, чтобы умыться, она увидела Мичкина, стоявшего на посту под скалой. Он притаился, словно кошка, и пристально всматривался в широкий простор долины. Слух его ловил малейший шорох, а зоркие глаза бдительно следили за козьей тропкой – единственным подходом к лагерю. Но ничего угрожающего не было, и на тропке, уходящей в зеленоватую туманную даль, не показывалось пи единой подозрительной точки. Медленно поднималось солнце. Было очень тихо. Лишь время от времени налетал ветерок, и тогда из соснового бора доносился Унылый протяжный шум – казалось, это вздыхают сами горы. В такое тихое утро Мичкин однажды покинул свой дом, чтобы поднять оружие против мира, лишившего его единственного сына. В сознании его еще оставалось немало следов этого мира, но он постепенно вытравлял их, вспоминая о мудром и спокойном мужестве сына накануне казни, к которой он был приговорен за конспиративную работу. Долгие часы размышлений, скорбь и гнев вывели отсталого крестьянина на путь, по которому шел его сын. Теперь Мичкин был кандидатом в члены партии.

– Ты почему не спишь? – окликнул он проходившую мимо Варвару.

– Дело есть, – ответила она. Потом остановилась и неожиданно спросила: – Кто хозяин виллы, возле которой мы на днях поджидали повою товарища?

– Табачный фабрикант, – ответил Мичкин.

Он много лет подряд разносил в Чамкории молоко по домам и хорошо знал всех жителей дачного поселка.

– Как его фамилия?

– Морев.

Варвара вздрогнула, по тут же подумала: «Должно быть, однофамильцы или дальние родственники».

– А женщину ты знаешь? – спросила она немного погодя.

Мичкин замялся: он всегда чувствовал себя неловко, когда разговор заходил о непристойных или безнравственных эпизодах чьей-нибудь семейной жизни.

– Женщину, говоришь? – пробормотал он. – Она содержанка Морева. Сама знаешь… у богачей бывают содержанки.

– А давно она с ним? – резко спросила Варвара.

– Да лет семь-восемь.

– Как ее звать?

– Не знаю, – ответил Мичкин, смущенный вопросами Варвары.

Он и в самом деле этого не знал. Но ему захотелось защитить эту женщину, к которой у него были причины относиться с симпатией.

– Она докторша, – проговорил он.

– Докторша?

– Да. Как-то зимой, под Новый год, внучонок мой простудился. Метался, как в огне горел. А на дворе метель… Звали мы докторов, по никто не пошел. Все пили и танцевали у себя на дачах. Тогда попросили ее, и она пошла. Привезли ее на санях.

– Какая сострадательная! – с иронией заметила Варвара-

– Я говорю только, что она пошла, – объяснил Мичкин, бросив на Варвару недовольный взгляд.

– А она не танцевала?

– Танцевала и была в длинном платье, но сейчас же переоделась.

На это Варвара не отозвалась. Она подумала о том, что ее молодость прошла без тех радостей, которых жаждет каждая женщина, – за ней никто никогда не ухаживал. Ни разу в жизни ей не приходилось танцевать в длинном платье в ночь под Новый год, когда за окнами бушует метель, а в доме тепло и весело. Молодость запомнилась ей лишь нуждой, арестами и побоями.

– Да, – сказала она. – Эта женщина проявила отзывчивость.

– А почему она тебя так интересует? – спросил Мичкин.

– Случайно вспомнила о ней, – ответила Варвара.

Она отдала Мичкину свой недельный паек сигарет и стала спускаться по склону на дно долины, по которому бежал бурлящий ручей. Солнце уже поднялось над скалами, и утренний туман таял под его лучами. Варваре хотелось освежить лицо ледяной водой, но на крутом спуске она поскользнулась и упала, ободрав руку о ствол сосны. От этого она снова почувствовала себя лишней, одинокой и жалкой. Ей показалось, что она ни к чему не пригодна и что для товарищей она – только обуза. И тут же она вспомнила о Лиле и других молодых, сильных женщинах из соседних отрядов. Почти все они сражались с автоматом в руках наравне с мужчинами. Этих женщин уважали за их физическую и духовную выносливость. В твердости духа Варвара не уступала им, по физических сил у псе не хватало, и потому все относились к ней пренебрежительно. Никто не думал о ее прошлых заслугах, не вспоминал об истязаниях, которым она подвергалась в полиции, не спрашивал, почему она страдает ревматизмом, хроническим бронхитом, почему у нее перебои сердца.

Подавленная своими мыслями, она добралась до ручья. Там уже умывалось несколько человек из отряда. Среди них был и студент, который доставлял ей столько хлопот во время политбесед. Высокий и тощий как жердь, циркулем стоял он над ручьем, широко расставив длинные ноги. Возле него, намылив лицо и присев перед поставленным на камень зеркальцем, брился Динко.

– Варвара! – с озорством окликнул ее студент. – А ты объяснила Мичкину разницу между формальной и диалектической логикой?

– Отстань, – сердито ответила Варвара. – В крестьянском вопросе Мичкин разбирается куда лучше тебя.

Она опустилась на колени и начала умываться. Ей показалось вдруг, что она сейчас особенно безобразная и грязная. Поэтому мылась она тщательно, хотя от ледяной воды и едкого деревенского мыла у нее шелушилась кожа. Подняв наконец голову, она увидела, что студент и другие бойцы уже ушли. У скалы, расставив ноги над ручьем, стоял Динко. Он уже побрился и собирался умыться, но ждал, пока умоется Варвара, так как стоял выше по течению и не хотел мутить воду мыльной пеной.

– Ты кончила? – спросил он.

– Да, – ответила она, растирая худые, окоченевшие от холода руки.

Динко наклонился над водой и стал спокойно намыливать шею, уши и волосы. Когда он умылся, на его загорелом лице, раскрасневшемся от холода, заиграл яркий медно-красный румянец. Динко был в сапогах, солдатских бриджах и рубашке защитного цвета. Вытеревшись насухо полотенцем, он надел автомат и перепоясался патронными лентами, лежавшими на скале. Рослый и широкоплечий, он был красив какой-то дикой, мощной, стихийной красотой, и Варвара залюбовалась им, как любовалась великолепием гор. Но, испуганная своим чувством, она поспешила подавить его и скрыться за излюбленной привычкой давать советы.

– Ты должен наконец высказаться начистоту перед партией! – глухо промолвила она. – Так дальше нельзя! Другого выхода у тебя нет.

Он с досадой взглянул на нее, но не сказал ни слова и стал медленно подниматься по горному склону.

– Слышишь? – крикнула она ему вслед. – Партия должна знать все.

Вскоре Варвара собрала отряд и два часа посвятила политбеседе, а остаток времени до обеда ушел у нее на занятия с неграмотными. В обеденный перерыв она успела перессориться с больными. Чесоточные уверяли, что они уже выздоровели, и не хотели мазаться мазью, которую им давала Варвара, а малярийный, ссылаясь на боли в желудке, наотрез отказался лечиться чесноком. В знойные послеобеденные часы Варвара починила рубахи у самых оборвавшихся своих товарищей, а под вечер погрузилась в мрачные мысли о Павле.

Знакомство Павла с любовницей Бориса Морева неприятно поразило Варвару. Что связывало его с этой женщиной? Как оправдать их ночное свидание в уединенной вилле и дружеский разговор у окна? Может быть, за всем этим кроется нечто более глубокое?… Варвара не посмела довести свою мысль до конца. Она знала, что если расскажет обо всем Лукану, то он лишь с досадой махнет рукой. Мужчины-коммунисты всегда склонны недооценивать опасность, таящуюся в чарах буржуазных женщин. Но женщины-партийки судят иначе, и Варвара решила поделиться своими подозрениями с Лилой.

Она забралась на скалу, нависшую над пещерой, и стала вглядываться в ту сторону, откуда должна была вернуться Лила. Солнце склонялось к западу. Косые лучи его окрашивали каменистые склоны и вершины гор в оранжево-красные тона, а зелень хвойных лесов медленно темнела. В долинах стлался легкий, прозрачный туман. Налево меж скал притаился партизанский секрет. На голой седловине за утесами, вздымавшимися над пещерой, майор собрал партизан в полукруг и разбирал недавно добытый трофейный пулемет. Это занятие должен был проводить Динко, но, так как он был отстранен от командования, его заменил майор. История с Динко нарушила установленный распорядок, и это тоже удручало Варвару. Она снова попыталась разгадать, почему он так упорно молчит, но, так и не разгадав, перестала о нем думать.

Когда солнце зашло и сумрак стал сгущаться, из-за валунов, меж которых терялся ручей, показалась группа партизан – человек десять. Среди них была и Лила. По пути к лагерю они встретили местных жителей, снабжавших их провизией, и сейчас шли, сгибаясь под тяжестью вещевых мешков и рюкзаков. Варвара бросилась им навстречу. Пока они шли, почти стемнело, и она с трудом узнавала товарищей, увешанных оружием и рюкзаками. Лила шла позади всех. Она была в бриджах и темном свитере, надетом поверх туристской рубашки. На ногах у нее были высокие офицерские сапоги.

– Варвара, ты? – спросила она из темноты.

– Я! – ответила Варвара.

– Возьми у меня сумку с мукой! Все руки оттянула!

Варвара взяла у нее сумку и тихо сказала:

– К нам прибыл новый товарищ… Павел Морев!

– Как? Давно? – воскликнула Лила.

В голосе ее прозвучала вся тоска двенадцатилетнего ожидания. Она вмиг забыла об усталости и, подхватив автомат за ремень, чуть было не бросилась бежать к лагерю. Варвара поймала ее за руку.

– Постой! Ты чему радуешься?

– Как чему? Ведь он тот… Мы с ним старые товарищи. Вместе работали… Я давно его знаю.

– Его?

– Да! А что?

– Ничего! – растерянно ответила Варвара.

– Что значит «ничего»? – Голос Лилы окреп, – Ты что-то собиралась мне сказать о нем.

– Нет, ничего, – повторила расстроенная Варвара.

Жизнь на нелегальном положении приучила Лилу обращать внимание даже на незначительные мелочи и сразу выяснять все до конца.

– Слушай! – жестко сказала она, сжимая руку Варваре. – Говори сейчас же!

– Не могу! – в отчаянии выдохнула Варвара.

– То есть как – не можешь? Разве мы с тобой не партийные товарищи?

– Ну да, конечно!

– Тогда говори!

И Варвара рассказала обо всем, что видела ночью в Чамкории и что слышала от Мичкина. Лила молча выслушала ее, не перебивая.

– Значит, ты думаешь, что они любовники? Так, что ли? – спросила она наконец.

– Нет, этого я не думаю! – ответила Варвара глухим голосом, раскаиваясь в том, что затеяла этот разговор. – Я только говорю о том, что видела.

– Ну что ж! – У Лилы вырвался холодный смешок. – Может, они и любовники! Но о предательстве не может быть и речи. Я очень хорошо знаю их обоих.

Голос Лилы теперь звучал равнодушно и сухо. Она медленно шла за Варварой к лагерю.

Лукан сидел на полянке перед пещерой и перелистывал блокнот, отмечая, что сделано за день, а что не сделано. Лила подошла к нему, доложила о выполненном поручении и пошла спать. Разговор велся в сухом, официальном тоне. Они уважали, но недолюбливали друг друга, как это часто бывает, когда соприкасаются сильные, неуступчивые характеры. Их прежнее единомыслие превратилось в легкую взаимную неприязнь. Майор понимал, что колкости, которыми они иногда обменивались. – это последний отголосок их прошлой сектантской нетерпимости.

После ужина Павел и майор увлеклись бесконечным разговором о тактике партизанской войны. Когда они наговорились, Павел спросил о Лиле. Майор ответил, что она уже вернулась, но он ее не видел, а Лукан равнодушно пожал плечами.

– Она, наверное, уже легла спать, – сказал он.

Павлу стало и грустно и обидно. Пока они с майором разговаривали, он только и думал о том, скоро ли появится Лила.

Лила подошла к нему у входа в пещеру только на следующее утро. И обида, которую он таил весь вечер, сразу же исчезла, уступив место тому чувству, какое он всегда испытывал к ней.

Лила была как яркий горный цветок, распустившийся среди вольного горьковато-сладостного благоухания чемерицы и можжевельника, папоротника и сосновой смолы. От ее отроческой худобы, малокровия, признаков отравления никотином за время работы на складе не осталось и следа. В округлившихся формах ощущалась сила и гибкость пантеры. Солнце покрыло ее лицо ровным медно-красным румянцем, на слегка обветренной коже еще не было ни морщинки, а ее медный оттенок подчеркивал голубое сияние глаз. Эти глаза, поразительно прозрачные, выражали спокойную уверенность Лилы в своем нравственном превосходстве, и в то же время в них нетрудно было заметить затаенную игривость, которая отдаленно напоминала кокетство женщин из другого мира, но привлекала гораздо сильнее, так как была безыскусственной. На груди у нее перекрещивались ремень автомата и пулеметная лента. И все это вместе создавало образ женщины, которую каждый день подстерегает смерть. Она смотрела на Павла с некоторым раздражением. Лицо у него осталось таким же мужественным, как и двенадцать лет назад. Под коричневой рубашкой угадывались твердые мускулистые руки, которые когда-то обнимали ее так крепко, что она замирала в объятиях. И даже взгляд его не изменился. Этот взгляд по-прежнему воспламенял в ней любовь и ревность. «Он идиотски красив, – со злостью подумала она. – Как раз во вкусе той кошки, с которой он провел ночь в Чамкории».

– Все тот же! – признала она, с неудовольствием протягивая ему руку. – Ничуть не изменился! И вид у тебя все такой же.

Он не почувствовал скрытого упрека в ее словах и сказал сердито:

– Наконец-то соблаговолила явиться! Почему ты не пришла вечером?

– Потому что отшагала сорок километров за день. Не затевай ссоры с первой же минуты.

– Ссориться мы будем потом. Разве ты не получила моего письма из Ленинграда? Я предлагал тебе взять отпуск одновременно со мной и провести его вместе.

– Получила, по мне не хотелось проводить лето без моих товарищей.

– А почему ты даже не ответила на это письмо?

– Потому что оно было полно всяких глупостей! – Она рассмеялась небрежно и равнодушно. – Мне рассказывали, что ты научился хорошо говорить по-монгольски. А потом изучил китайский язык. Это правда?

– Отчасти! Я имею звание полковника Красной Армии, три года служил в Алма-Ате. Но китайский – это уж выдумка, которой кто-то украсил мою биографию.

– Значит, с нефтяных промыслов Аргентины – в Испанию, а из Испании – в Алма-Ату! Красота! Скоро тебе будет тесно на земле.

– В этих странах я многому научился.

– И в каждой оставил по разбитому сердцу, а?…

– Ты по-прежнему высокого мнения о моей личной жизни.

– Я всегда отделяла ее от твоих заслуг как коммуниста.

– Благодарю за уточнение.

– Если бы я не отделяла одного от другого, мне было бы очень тяжело, – сказала она. – Тогда я бы слепо любила тебя или так же слепо ненавидела… А сейчас я знаю, как нужно относиться к тебе.

– Ты в этом уверена? – спросил он хмуро.

– Да! С каких пор ты знаком с Ириной?

– С какой Ириной?

– Как «с какой»? Значит, пытаешься все скрыть? С любовницей твоего брата!

– Мне нечего скрывать! – Павел рассмеялся. – Просто я забыл о ее существовании! Так, значит, эта сплетница Варвара доложила тебе о своих подозрениях! Ну и что же? Ты считаешь Ирину своей соперницей?

– О, я не так самонадеянна!

– Глупости говоришь! – Павел нахмурился. – Ты знаешь ее?

– Знаю.

– Она но донесет на меня в полицию?

– Вряд ли! Хотя бы потому, что ты неплохо забавлял ее.

– Довольно болтать. В этой женщине есть что-то трагическое, и это заставило меня призадуматься. Может быть, на меня повлияла необычность встречи, горечь ее слов. Сейчас они кажутся мне слащавой исповедью – этой женщине, должно быть, хотелось оправдаться или покаяться в своих пороках и падении.

– И вот эта горечь и подействовала на тебя, не так ли? Тебя взволновали ее красивое лицо, чудесные руки, золотистая, как янтарь, кожа? Что говорить, от нее исходит теплота, душевная и телесная, которая заставляет мужчин забывать о ее пороках. И все это умело переплетено с аналитическим умом, красноречием и пассивностью перед злом. Вот ты и призадумался! Браво, товарищ инструктор партизанского штаба! Я до глубины души растрогана твоей впечатлительностью!

Лила опустила голову и рассмеялась, прикрыв глаза темными от ружейного масла, огрубевшими ладонями.

– Лила! – Голос Павла пресекся от внезапного волнения. – Почему ты смеешься надо мной? Двенадцать лет я ждал этого дня.

– А зачем тебе я? – удивленно спросила она, приподняв голову.

– Затем, что в тебе воплощено все прекрасное, за что мы боремся.

– Хороший лозунг, – сказала она. – Но нам, трудящимся женщинам, не хватает утонченности полночных красавиц. Мы не умеем приукрашивать своп чувства горечью, не знаем, как превращать свою скуку в позу и развлечение. Это искусство избранных – кокоток, содержанок! Нам оно недоступно, потому что нам чужды лень, раболепие и глупость трагических женщин, которые заставляют вас «призадумываться". Но может быть, нам надо облениться и поглупеть, как они? Может быть, после победы нам лучше не строить социализм, а бегать по портнихам и парикмахерским, красить себе ногтя, вертеться перед вами в шелковых пеньюарах и прикидываться печальными и нежными до тошноты? Сейчас вы нас любите, ибо мы равны и в борьбе, и в смертельной опасности, а потом, когда буржуазные женщины начнут кидаться вам на шею, мы покажемся вам безобразными и грубыми…

– Тебе подобная опасность не грозит! – улыбнулся он.

– А может быть, грозит – почем ты знаешь? – вскипела вдруг Лила. – Красота женщины не только в гладкой коже, затуманенном взгляде или маникюре. А достоинства женщины вовсе не сводятся к уменью забавлять мужчин.

– Разве я ото говорил?

– Не говорил, но это можно было понять из твоих слов.

– Давай тогда предложим Народному суду в первую очередь заняться Ириной!

– Важен принцип, а не Ирина! Целых двенадцать лег я хранила тебя в своем сердце и ни о ком больше не думала! Вокруг меня было много мужчин, о которых можно было бы подумать, но я этого не делала. Ты понял?

Павел слушал ее затаив дыхание, с улыбкой, с радостным трепетом. Ему казалось, что сияние в глубине ее глаз разгорается, становится все ярче и ярче и заливает все вокруг.

– Не думай, что я ненавижу Ирину! – сказала Лила немного погодя. – Она мне спасла руку!

– Надо будет намылить шею Варваре, – проговорил Павел.

– Не надо. Варвара просто исполнила свой долг.

Они умолкли. Из пещеры вышел майор.

Майор сварил клейстер из муки, склеил обтрепанную от долгого употребления, распавшуюся на куски карту и вышел просушить ее на солнце. Во всей этой работе, отнявшей больше часа, в старании, с каким он припоминал рецепт изготовления клейстера и наконец вспомнил, что из муки только тогда получится хороший клейстер, когда муку заваришь кипятком, в тщательности, с какой он разрезал ножом бумагу на узкие полоски и наклеивал их на сгибы карты, чтобы соединить разорванные куски, сказались свойственные ему огромное трудолюбие, педантизм и аккуратность, которые он неизменно проявлял, тридцать лет служа партии. Эта старая, изорванная топографическая карта крупного масштаба, хранившаяся у майора еще с первой мировой войны, была необходима штабу, и он всегда дрожал над ней. Он расстелил карту па траве и придавил по углам камнями, чтобы ее не унесло ветром.

Майор, по-видимому, с головой ушел в свое занятие, но Лиле и Павлу показалось, что он слышал их разговор. Естественней всего было не выдавать своего смущения.

– Майор! – сказала Лила. – Вы все время с чем-нибудь возитесь. Чем вы сейчас заняты?

– А! – Майор явно притворился, что только сейчас заметил их. – Это вы? Я склеивал карту.

– Как вам понравился наш разговор?

– Я ничего не слышал. – деликатно солгал майор. – О чем же вы разговаривали?

– Так, глупости болтали.

– Продолжайте в том же духе. – Майор лукаво улыбнулся. – Глупости иногда помогают нам получше разобраться в серьезных вещах. Вы еще останетесь здесь?

– Да! – ответила Лила. – Будем печатать воззвание на гектографе.

– Не примите мою карту за лист ненужной бумаги.

– Не беспокойтесь, майор!

Он пошел к ложбинке, в которой после утренних учений отдыхали партизаны. Улыбка еще играла на его сухощавом морщинистом лице. Сидя у выхода из пещеры, он слышал весь разговор Лилы и Павла, был им взволнован и теперь от души радовался их счастью.

«Эти двое – новые люди, – думал он, – и они будут жить и творить после победы».

– Помоги мне напечатать воззвание! – сказала Лила Павлу, когда майор скрылся из виду. – Ты когда-нибудь работал на гектографе?

– Нет! – ответил Павел. – Но ты меня научишь.

Они вошли в пещеру, заваленную штабным багажом – тюками, кожаными сумками и рюкзаками. В глубине на заботливо расстеленном полотнище стояли небольшой батарейный приемник, керосиновый фонарь и пишущая машинка. Когда отряд выступал в поход или объявлялась тревога, тюки и сумки быстро навьючивались на двух ослов, которые паслись поблизости. Упаковку и погрузку багажа майор обдумал сам до мельчайших подробностей. У входа в пещеру было достаточно светло, чтобы там работать. Лила достала из папки лист восковки и рукопись воззвания, которое написала несколько дней назад.

– Ну а хоть писать на пишущей машинке ты научился? – спросила она.

– Хоть этому научился! А ты умеешь обращаться со всеми видами оружия и управлять автомобилем и мотоциклом?

– Велико дело! Если хочешь, могу тебя поучить. Ну, а чем еще ты собираешься похвастаться?

Павел подошел к Лиле и обнял ее. На них нахлынули воспоминания о тех днях, когда они вот так же беззаботно шутили друг с другом. Соединявшая их любовь еще глубже проникла в их души. Теперь она находилась в полной гармонии с тем, за что они боролись.

Лила ответила на объятие страстным поцелуем. Но спустя мгновение оттолкнула Павла и проговорила строгим тоном:

– Чтобы этого больше не было!

– Почему? – спросил он, упиваясь свежим благоуханием трав и сосновой смолы, исходившим от ее волос.

– Потому что мы здесь не для этого. Подумай, как огорчились бы товарищи, если бы нас увидели. Вот останемся живы, после победы на все будет время.

– На все ли? – Павел с грустью смотрел на нее. – А если не останемся живы?

– Вот это в тебе и плохо! – рассердилась Лила. – Ты привык только брать от жизни, ничего не упуская. А ты подумай о людях вокруг нас… о Лукане, майоре, Варваре… Для них нет ничего, кроме самопожертвования и партийной работы.

Павел медленно кивнул. Лицо его застыло в строгой задумчивости, от чего стало еще прекраснее, таким оно еще больше нравилось Лиле.

– Садись и пиши воззвание! – сказала она.

Отряд карателей снова напал на верный след и направился прямо к центру оперативной зоны, в которой действовали южные отряды партизан. Штаб зоны под руководством майора в спешном порядке разработал план отпора врагу.

Керосиновый фонарь, стоявший на земле, скупо освещал пещеру. Вокруг него, склонившись над картой, совещались майор, Павел, Лукан и Лила. В пещере было душновато. При свете фонаря, идущем снизу, лица мужчин выглядели осунувшимися и мрачными.

– Я не вижу никакого шоссе, – сказал Лукан, показывая на карту.

– Карта устарела, – объяснил майор. – Я достал ее потому, что она крупного масштаба. Сейчас покажу тебе на другой.

– Ладно, не надо, – сказал Лукан.

– Нет, я хочу, чтобы ты убедился.

– Не надо, говорю тебе! Я и так понял! Здесь мы можем наткнуться на моторизованные части.

– Минуточку, минуточку! – бормотал майор, упрямо перерывая свою сумку. – Я хочу, чтобы ты сам увидел, что путь, по которому я предлагаю отступать, самый безопасный.

Он развернул другую карту и с торжеством показал шоссе.

– Ясно, – устало согласился Лукап. – Значит, отступаем к Вододелу, а Шишко будет охранять нас у озер с фланга, и, если противник бросится за нами, мы ответим контратакой.

– Это единственно возможное решение, – заявил майор.

В пещере стало тихо. Павел в раздумье разглядывал карту. Лукан заметил его взгляд и спросил предупредительно:

– А ваше мнение, товарищ?

– Направление выбрано не совсем удачно, – ответил Павел. – Группа Шишко малочисленна, а она сможет рассчитывать только на собственные силы.

– Зато они люди бывалые, – сказала Лила. – Отец не дрогнет, даже если увидит перед собой минометы.

– Потому-то и надо его беречь, – продолжал Павел. – Нам предстоит еще многое испытать. Мой совет – повернуть на юг, сохраняя связь с Шишко. Тогда мы сможем завлечь противника к озерам и атаковать в удобном для нас месте. Пехота карателей не осмелится преследовать нас до Вододела, будьте уверены! А вы, похоже, хотите избежать сражения.

– У нас неважно с оружием, – заметила Липла.

– Тем более! Вот разгромим карателей и добудем оружие.

– А если но разгромим, останемся без патронов, – вставил майор. – Я тоже думал предложить вам такое решение, но не был уверен, что вы его примете из-за этой истории с Динко. Чтобы нанести контрудар противнику, необходим смелый, находчивый и умный командир, который может под огнем вырабатывать план боя и менять его сообразно с обстановкой. Но такой командир у нас только Динко.

– А Шишко не сможет его заменить? – спросил Лукан.

– Нет, – тотчас же ответил майор. – Шишко – отличный политкомиссар и хороший командир небольшого отряда, человек в двадцать… Но он и понятия не имеет об огневой позиции и тактике пулеметной стрельбы.

– Опять пошла военная теория, – пробормотал Лукан и, внезапно вспотев, отер пот со лба.

– В данном случае она имеет решающее значение, – сухо заметил майор.

– Ладно. Замени его ты.

– Согласен.

– Это будет большой ошибкой, – резко возразил Павел. – После того как я уйду со своей бригадой на юг, товарищ останется единственным военным специалистом я штабе. Нельзя рисковать им.

Наступила тишина, в которой слышалось лишь потрескивание фитиля в фонаре. Лила отвинтила колпачок и подлила в фонарь керосина из жестянки. У входа в пещеру послышались шаги: дежурный по лагерю обходил посты. Молчание становилось тягостным. Павел не знал историю с Динко во всех подробностях, а майор не вмешивался в вопросы, касающиеся кадров. Только Лила упорно и вызывающе смотрела в лицо Лукану.

– Что же делать, по-вашему? – спросил Лукан.

– Что делать? – внезапно переспросила Лила. – Я скажу. Довольно сектантства, товарищ Лукан! Динко надо немедленно восстановить на посту командира отряда.

Снова наступило молчание, еще более тягостное и напряженное. Бледное, испитое лицо Лукана было как камень. Сплюснутый нос его, напоминавший о пытках в полиции, где Лукану сломали носовые хрящи, подчеркивал выражение упорства.

– Товарищи! – неторопливо начал Лукан, словно выступая па собрании. – Я опять слышу упреки за свое прошлое. И от кого? От человека, которого партия послала в штаб оперативной зоны. Меня осуждают за то, что я отстаиваю решение, которое препятствует нашей борьбе вырождаться в мелочные, личные расправы. – Лукан выждал мгновение и выкрикнул гневно: – Разве это сектантство, товарищ Лила?…

Пламя фонаря дрогнуло. Так мог вспылить лишь человек, который редко терял самообладание. Лила ничего не ответила.

– Продолжайте! – спокойно сказал Павел.

– Динко бросил отряд в бессмысленную атаку, которая стоила жизни трем нашим товарищам, – продолжал Лукан, взяв себя в руки. – Я немедленно снял его с поста, чтобы завтра но повторилась такая же безумная выходка. Разве ото сектантство, товарищи? Динко своевольничает, не признает партии в лице политкомиссара, а вы хотите снова доверить ему власть над ста пятьюдесятью бойцами. Я не могу пойти на такое легкомыслие. Что, это тоже сектантство?

– Чем он объясняет свой поступок? – спросил Павел.

– Хотел якобы устроить диверсию у немцев. Но расследование установило, что он хотел казнить вашего брати.

– Значит, мотивы были политические, – бесстрастно заключил Павел. – Мой брат работает на немцев и наживается па этом. Далее, он был так напуган этим нападением, что спас Блаже от виселицы.

Все товарищи, и Лукан в том числе, удивленно посмотрели на Павла.

– Даже это не может оправдать Динка, товарищ Морев! – возразил Лукан. – Партия категорически запрещает карать гражданских лиц, которые не замешаны в военном сотрудничестве с нашими властями или немцами в их борьбе против нас. Не вправо Динко заниматься не своим делом. Завтра Борисом Моровым займется народ. Но не в этом дело, не в этом. – В голосе Лукана снова зазвучал гнев. – Динко действительно собирался убить Морева, но не только но политическим мотивам. Его поступок был внушен чем-то глубоко личным, что он скрывает от нас, о чем отказывается давать объяснения. Он не хочет открыться даже партии. Я не могу доверять такому человеку.

– Вы его спрашивали повторно? – спросил Павел.

– Раз десять уже вызывал его.

– Попробуем еще раз.

– Когда? – вмешался майор. – Противник подходит.

С полуночи отряд был уже в полной боевой готовности. Штабной багаж упаковали, и можно было сразу навьючить его на ослов. Людям раздали дополнительные патроны, немного табаку и скудный двухдневный паек хлеба и брынзы. Командиры отделений проверяли секретные посты и засады. Но противник не давал о себе знать.

Варвара не спала всю ночь. Она вздрагивала от крика ночных птиц, и тогда сердце ее начинало учащенно биться. «Завтра бой, – думала она. – В худшем случае убьют… Ну и что ж такого?» И она поняла, что, в сущности, не боится ни сражения, ни смерти, а ее угнетенное состояние объясняется расстроенными нервами, напряженной жизнью и гонениями, которым подвергались в стране евреи последние десять лет. Она прислушивалась к мерному дыханию Лилы, которая спала рядом. Сон у Лилы был чуткий, но спокойный и здоровый. Она просыпалась, как серна, даже от шороха ветра и снова засыпала. Варвара в отчаянии стиснула зубы. Из мрака выплывало что-то безликое, ужасное. Ей чудилось, будто из лесу доносятся стоны миллионов убитых евреев.

Наконец наступило тихое и спокойное утро. Лила встала, умылась и сейчас же пошла к штабной пещере.

Варвара задремала только на заре. Партизаны знали, что она страдает бессонницей, и не будили ее напрасно. Она проснулась, когда роса уже высыхала. Спустилась к ручью, умылась, а на обратном пути прошла мимо скалы, под которой стоял па посту пожилой мужчина. Солнце поднялось высоко и начинало припекать. Спасаясь от его лучей, часовой подложил под кепку полосатый домотканый платок. Он жевал кусок черствого черного хлеба, но время от времени его челюсти переставали двигаться, а лицо застывало, скованное тревогой.

– Что там? – спросила Варвара. – Слышно что-нибудь?

– Где-то идет бой, – ответил часовой.

Варвара прислушалась, но ничего не услышала. Партизан продолжал жевать.

– Откуда слышно? – спросила она.

– С озер. – Часовой откусил от краюхи огромный кусок. – Шишко вступил в бой.

– У озер не может быть перестрелки. Чтобы туда попасть, фашисты должны были пройти здесь, другого пути нет.

– Есть, – ответил часовой. – По долине Монастырской реки.

– Это трудный для них и опасный путь.

– Пальба идет в той стороне. – Партизан проглотил кусок и сказал: – Слышишь?

Варвара затаила дыхание и между глухими тревожными ударами сердца расслышала сухое тарахтение пулемета – знакомый, приглушенный расстоянием треск, напоминающий ровное постукивание швейной машины. Варвара постаралась не выдать своего страха.

– Это плохо, – сказала она. – Но Шишко отбросит их.

– Если его не засыплют минами. – Часовой закурил. – Тогда враги зайдут к нам с тыла, и придется отступать ночью по осыпям…

Варвара представила себе обстрел из минометов. От ружейного и пулеметного огня можно укрыться в скалах. Но мины… мины – просто ужас! Они падают отвесно, и от них нельзя скрыться нигде. А ночное отступление по осыпающимся кручам непосильно для ее ревматических ног и больного сердца. Партизан с сочувствием взглянул на нее.

– Не бойся! Лукан с майором что-нибудь придумают.

Снова послышалась далекая пулеметная стрельба. Несколько пулеметов стреляло одновременно. В их глухой мерной стук врывался необычный шум, точнее, треск, – словно порывы сильного ветра раздували костер из смолистых сосновых ветвей.

– Автоматы! – выдохнула Варвара. – Слышишь?

Партизан кивнул. Он слышал и глухие, едва уловимые взрывы мин, падающих на отряд Шишко. По вот он опять вытянул шею и замер, привлеченный новыми, еще более тревожными звуками. Внизу, в долине, лаяли собаки. То был остервенелый, захлебывающийся лай овчарок, обозленных появлением множества незнакомых людей. Так лают собаки, когда по горным пастбищам проходит партизанский отряд или воинская часть.

Когда Динко, вызванный Луканом, вошел в пещеру, майор уже расслышал далекий собачий лай, но не встревожился. План обороны был готов, а кризис в штабе близился к благополучному и скорому концу. Несколько минут назад майор тщательно осмотрел в бинокль всю местность и поднял отряд по боевой тревоге. Пока приближался лишь авангард фашистов, и отбросить его было нетрудно. Предстояла небольшая схватка, которая поможет завлечь карателей в горы. Стратегически события развивались неплохо. Причин для волнения пока пет, и майор принялся тщательно точить огрызок карандаша. Исповедь Динко он слушал рассеянно. Ребячество! Какая-то история с двоюродной сестрой! Майор был человек умный и знал, что человеческая личность – ото сложное переплетение общественных, психологических и биологических закономерностей. Общественные, разумеется, главенствуют, но это не исключает отступлений в молодости. Боевые и партийные качества Динко с лихвой перекрывали его недостатки, и только такой педант, как Лукан, мог этою недопонимать. Но майор не замечал, что, несмотря на внешнее спокойствие, его начинало разбирать нетерпение.

Не спеша очинивая красный карандашик и прислушиваясь к далекому злобному лаю собак, он представил себе знакомую картину: нотные и хмурые солдаты неохотно ползут вверх но склону к седловине, а за ними идет офицер и подталкивает рукояткой револьвера связанного предателя.

Лукан продолжал нудно и подробно допрашивать Динко.

– Значит, ты приказал напасть на станцию, потому что хотел отомстить за свою двоюродную сестру? – заключил он.

– Да, – глухо пробормотал Динко.

– А почему ты до сих пор нам этого не сказал?

Динко не ответил.

– Выйди и подожди перед входом.

Динко вышел из пещеры. Павел подумал, что в его чертах есть, хотя и далекое, едва уловимое сходство с горячим, страстным и вместе с тем печальным лицом женщины, которая рассказала ему историю смерти Стефана, – такие же ровные зубы, орлиный нос, такие же скулы. Майор медленно чинил карандашик. Он снова услышал яростный лай собак. С минуты на минуту раздадутся тревожные выстрелы передовых постов, которые ускорят решение вопроса о Динко. Майор выглядел спокойным, по его нетерпение все возрастало. У Лилы нервно подергивалось лицо – казалось, она готовится к новой атаке на Лукана. Лукан один не поддался обаянию мужественной красоты Динко. В его суровых, умных и неумолимых глазах горел холодный огонь, и видели они только высшую, конечную цель борьбы.

– Решайте! – сказал Лукан.

– Для высказываний нет времени, – быстро проговорил майор. – Я предлагаю приступить к голосованию.

– Хорошо. Голосуйте.

Майор, Лила и Павел почти одновременно подняли руки. Все трое с тревогой смотрели на Лукана. А он опустил голову. И вдруг неожиданно, не видя, как голосуют товарищи, тоже поднял руку.

– Значит, единогласно, – произнес он ровным голосом. – Но я оставляю за собой право требовать наказания впоследствии.

– Ладно! – откликнулся кто-то.

По лицу Лукана промелькнула легкая усмешка.

– Я сообщу ему о решении штаба, – сказал майор. – А ты ступай скажи ребятам, что он снова будет командовать ими.

**VII**

В жаркий июльский день по извилистому пыльному шоссе, которое бежало рядом с руслом мутной глинисто-желтой ленивой реки, ползла длинная вереница тягачей и бронетранспортеров части, направлявшейся в Беломорье. Монотонно и надоедливо ревели моторы, гусеницы тягачей поднимали густые клубы белой известковой пыли, которая окутывала всю колонну, а резиновые шипы противотанковых орудий глухо хрипели под тяжестью придавившей их стали. На платформах тягачей, расположившись на снарядных ящиках и у зенитных пулеметов, сидели солдаты в побелевших от мелкой пыли касках, в шортах и летних гимнастерках. Все проклинали жару, перебрасывались непристойными казарменными прибаутками и, чтобы освежить рот, время от времени отпивали из манерок противную, теплую воду. Воинскую часть перебрасывали на побережье, чтобы усилить береговую охрану на случай возможного десанта с моря.

Во главе колонны ехали командир части – полный, еще молодой подполковник с дерзкими синими глазами и его адъютант – стройный поручик с холеными руками и черными усиками.

Командир с бранью выплюнул набившуюся в рот пыль, которая скрипела на зубах. Уже более двух часов впереди маячила какая-то дурацкая легковая машина, упрямо двигавшаяся с той же скоростью, что и колонна. Когда подполковник придерживал колонну, машина тоже сбавляла ход, когда же он пытался ее обогнать, она вырывалась вперед. Можно было подумать, что идиот, управлявший машиной, считал своей единственной целью битком набить рот, нос и легкие подполковника пылью. В конце концов подполковник потерял терпение, побагровел и разразился водопадом ругани. Этот поток приличных и неприличных слов означал приблизительно следующее:

– Что это за болваны едут впереди нас?

– Штатские! – ответил адъютант, отирая лицо платочком, смоченным лавандовым одеколоном. Потом уточнил: – В машине едет женщина!.. Весьма изысканная дама.

Но подполковник не расчувствовался, а отпустил по адресу изысканной дамы несколько увесистых, хотя и менее непристойных ругательств. Когда же он немного отвел душу и лицо его приняло свойственный ему кирпичный цвет, он спросил:

– Что это за женщина?

– Супруга генерального директора «Никотианы», – ответил поручик.

– Без мужа? – проурчал подполковник с внезапно пробудившимся интересом.

Адъютант, хорошо знавший своего начальника, подумал: «Тут у тебя найдет коса на камень!.. На такую скотину, как ты, подобная женщина и смотреть не станет!»

– Она едет с супругом, – выразительно подчеркнул поручик, давая понять начальнику, что надо держаться поделикатнее.

– Черт бы их побрал! – проворчал подполковник, – А почему они все время ползут, как вошь, перед нами?

– Потому что боятся.

– Боятся? – Как все забулдыги, которые любят кутить, ругаться и обольщать женщин, подполковник не знал, что такое страх. Он спросил с удивлением: – А чего же они боятся?

– Нападения партизан.

И адъютант рассказал начальнику, как год назад в это же время отряд прославленного Динко напал на станцию, к которой подъезжал па своей машине генеральный директор «Никотианы».

Подполковник молча выслушал поручика. Вот уже год, как ему все чаще и чаще не давало покоя смутное предчувствие, что надвигается нечто неизбежное и хаотичное.

– А что с тем письмом? – неожиданно спросил он.

– С каким письмом?

– Из штаба дивизии. В котором запрашивают имена неблагонадежных.

– Мы еще не ответили.

– Ответишь, что неблагонадежных нет! В нашей части нет неблагонадежных! Понял?

– Так точно, господин подполковник, – отчеканил адъютант.

А сам подумал: «Ну и пройдоха! Спасает свою шкуру – к коммунистам подлизывается». Впрочем, адъютант был доволен, что служит в противотанковой части, которую никогда не бросят в бой против партизан – ведь у тех танков не было.

Ирина сидела в маленьком, неудобном автомобиле. Борис предпочел его лимузину, в котором они ездили из Софии в Чамкорию, хотя путь до Каваллы был длинный и утомительный. В этом стареньком, облупленном и дребезжащем автомобиле обычно разъезжали мелкие служащие фирмы – кассиры или бухгалтеры провинциальных отделений. Но Борис выбрал именно эту машину, чтобы не привлекать внимания тех, кого он смертельно боялся. А Ирина понимала все это, понимала также, почему они дождались противотанковой колонны и потом упорно двигались впереди нее; она испытывала тайное и глубокое презрение к малодушию Бориса, но молчала и лишь в душе насмехалась над ним с терпением человека, уже неуязвимого. Она согласилась поехать с ним в Беломорье, ибо знала, что без нее ему не справиться с делом; кроме того, ей хотелось развеять скуку, одолевавшую ее в Чамкории, и забыть безобразные, обугленные софийские развалины. Но езда в скверном автомобиле но адской жаре оказалась неприятной – гораздо более неприятной, чем она могла предположить, и теперь Ирина с сожалением вспоминала о печальных соснах Чамкории и мерцающих над ними холодных звездах. Но поскольку о возвращении нечего было и думать, она попыталась представить себе остров Тасос по тем слащавым и пошлым описаниям, которые читала в газетах. Однако вскоре она перестала думать о чем бы то ни было и впала в какое-то оцепенение, сделавшись нечувствительной ко всему, что в другое время могло бы ее раздражать. Она без злобы выносила и присутствие Бориса, от которого несло коньяком, и изнурительную тряску в неудобной машине, и палящий зной. Привыкнув сдерживать злость и раздражение, она сохраняла спокойствие, и красота ее даже теперь излучала утонченную чувственность. Для защиты от пыли она обвила голову тонкой вуалью из бледно-лилового шелка, под которой ее смуглая кожа казалась еще более гладкой, а глаза – еще более темными. Она похудела – благодаря диете и ежедневной гимнастике – и теперь приобрела вид женщины, у которой нет никаких иных забот, кроме ухода за своей красотой. Но в уголках ее губ появились крошечные морщинки – признак сдерживаемой досады и неудовлетворенности, которые точили ей душу.

Золотисто-карие глаза ее бесстрастно смотрели на красочное ущелье – беспорядочно нагроможденные острозубые разноцветные скалы, голые осыпи, испещренные темно-зелеными пятнами кустарников, и кобальтово-синее небо, на котором вырисовывались очертания горной цени Пирина с огромным конусом Эл-Тепе. Солнце палило, и воздух был сух, хотя в него уже проникали влажные струи – далекое дыхание Эгейского моря.

– Этому ущелью конца не видно, – пробормотал Борис, стирая платком пот со лба.

Ирина хладнокровно съязвила:

– Потому что мы еле движемся.

От жары он стал раздражительным и огрызнулся:

– Что ты этим хочешь сказать?

– Только то, что ты стал трусом.

– А как бы ты поступила на моем месте?

– Да хотя бы попыталась это скрыть.

– Скрыть!.. – Борис подыскивал колкость. – Как и многое другое?

А Ирина ответила бесстыдно:

– Да.

Борис готов был вспылить и обругать ее, как она того заслуживала, но тут же представил себе ее ледяную бесчувственность ночью, когда его начнут одолевать кошмары и она будет ему особенно нужна. Если Ирина была не в духе, никакие мольбы не могли склонить ее остаться в одной комнате с Борисом, и тогда ночные кошмары терзали его до умопомрачения. Поэтому вместо того, чтобы рассердиться, он начал философствовать:

– Признаюсь, нервы у меня не в порядке! Но я принес их в жертву великой цели. Укажи мне какое-нибудь предприятие, которое выросло бы так, как выросла «Никотиана»… Нет такого, правда? «Никотиана» – мой триумф в жизненной борьбе. Я стал чемпионом… Неважно, что я могу умереть перед финишем, как марафонский бегун.

Встречный ветер уносил его слова, так что Ирина слышала только обрывки фраз. Борис умолк, надеясь, что выспреннее и неуместное сравнение растрогает ее и вернет им хоть часть того прошлого, которое он сам разрушил. Алкоголь и Ирина были его единственным спасением от кошмарных ночных призраков. Стоило ему увидеть, что она спит рядом с ним, и он успокаивался.

– Ты считаешь меня трусом, – продолжал он хриплым голосом. – Но это не трусость, а благоразумие! Нам надо было дождаться колонны, потому что от одного ее вида партизанские отряды разлетятся, как мухи. Верно, что этот рыдван неудобен для езды! Но зато никому и в голову не придет, что в такой машине едем мы.

На это Ирина ответила:

– Нервы у тебя разболтались вконец.

Ее презрительные слова он принял за выражение сочувствия и сжал ей руку. Ирина терпеливо перенесла это пожатие, словно к ней прикоснулось какое-то гадкое пресмыкающееся, к которому она привыкла.

– Я поправлюсь, – уверял Борис, сознавая, что ему не удалось оправдаться в трусости, но не испытывая ни малейшего стыда. – Я вылечу свои нервы… Еще немного терпения, и мы уедем в Швейцарию.

– Боюсь, что будет поздно, – сказала Ирина.

– Поздно?… – В голосе его прозвучала наигранная шутливость. – Почему поздно?

Она ответила:

– Все рушится.

– Глупости. Англичане не допустят, чтобы к нам вошли советские войска. Не исключено, что первое время будет неразбериха – смешанное правительство с участием коммунистов на месяц-другой!.. Но только и всего.

Ирина презрительно усмехнулась. От его прежней проницательности остались лишь склонность к беспочвенным догадкам и легкомысленный оптимизм. Но это мало трогало Ирину – с некоторых пор она думала только о себе.

– Все же лучше нам уехать вовремя, – сказала она.

– Милая, мы не сможем уехать, пока я не договорюсь с Кондоянисом.

– Кондоянис – мошенник! – вспыхнула Ирина. – Странно, как ты не можешь этого понять! Ты просто-напросто даром отдаешь ему свой табак, не представляя, что из этого выйдет.

Ей было совершенно безразлично, что происходит с Борисом, но она не могла столь же равнодушно отнестись к его деньгам – огромным суммам, которые он опрометчиво бросал этому подозрительному греку. Правда, то были бумажные деньги, немецкие марки, обращенные в левы, но все же деньги… И коль скоро она стала законной наследницей владельца «Никотианы», ей было о чем беспокоиться.

– Вовсе нет, милая! – возразил Борис. – Если я веду дела с Кондоянисом, то это именно потому, что он предприимчивый человек. Меня ведь тоже называют мошенником! – Он самодовольно рассмеялся. – Я оформлю сделку договором. Кроме того, Кондоянис переведет в Базель па мое имя швейцарские франки.

– Какую сумму? – спросила Ирина с интересом.

– Миллион двести тысяч.

– Неплохо, – сказала она, хладнокровно сделав в уме подсчет.

Это было не бог весть сколько, но все *те* лучше, чем ничего. За швейцарские франки придется заплатить примерно вдвое дороже, чем на черном рынке, но зато табак не пропадет даром. Сделка была запутанная, сложная, рискованная и свидетельствовала о поражении Бориса. И все-таки миллион двести тысяч франков – это весомый добавок к их вкладу в швейцарском банке. Выяснив этот единственный интересующий ее вопрос, Ирина снова погрузилась в состояние безразличия ко всему. Она подумала, что стала ничуть не лучше Бориса. Немного погодя она услышала, как он достал из-под сиденья бутылку с коньяком и стал пить – уже в четвертый раз с утра. Бульканье действовало ей на нервы. «Пускай пьет, – решила она, – чем больше выпьет сейчас, тем меньше будет приставать ко мне в Кавалле». И она снова стала смотреть по сторонам, невольно прислушиваясь к болтовне шофера и секретаря. Как этого требовало приличие, они говорили без умолку, с усердием, чтобы не подумали, будто они подслушивают разговор хозяев. Они не оставляли без комментариев ни одной достопримечательности, и из их слов Ирина поняла, что машина уже пересекла старую границу и спускается по Рупельскому ущелью.

Река становилась все шире, полноводней и ленивей. Ее мутные воды ползли под разрушенными или наскоро восстановленными мостами. Справа и слева мелькали палатки трудовых лагерей, полуголые загорелые мужчины работали на прокладке полотна железной дороги. Небо из лазурного превратилось в пепельно-синее. Воздух раскалился, и было трудно дышать. А над головой стояло ослепительное огненное солнце.

Ирина устала смотреть но сторонам и опустила голову, потом откинула вуаль и закурила сигарету, бесстрастно наблюдая, как Борис беспокойно озирается и оглядывается назад, опасаясь, как бы не оторваться от моторизованной колонны. Страх, болезненный страх попасть в руки партизан неотступно преследовал его. И эти проявления малодушия и упадка разума по контрасту напомнили Ирине о старшем из братьев Моревых, с которым она виделась в Чамкории после Марииных похорон. Теперь она вспоминала о нем так же равнодушно, как и обо всех прочих мужчинах, которые ей когда-то нравились и которые постепенно исчезали из ее памяти. Время и скука – моль, разъедающая любое чувство, – уничтожили воспоминание о том вечере, который так взволновал ее. Медленно выдыхая струйку дыма, которую сразу же уносил ветер, она спросила:

– Что слышно о твоем брате?

Борис обрадовался, что Ирина прервала молчание, и ответил:

– Пошаливает в лесах.

– Я его видела как-то раз, – сказала она.

– Где?

– В Чамкории… В тот день, когда ты хоронил Марию в Софии.

– Вот как! Он был любезен?

– Да… Мы говорили по-дружески.

– Значит, ты ведешь дружеские разговоры с нелегальными? – Он рассмеялся. – О чем же вы говорили?

– О разном.

Борис помолчал, потом спросил:

– Почему ты раньше мне об этом не сказала?

– Не считала нужным.

Ответ был дерзкий, но Борис не заметил этого, как перестал замечать тысячи других мелких дерзостей, па которые Ирина теперь не скупилась.

Ирина снова стала смотреть на дорогу. Ущелье расширялось. На неприступных скалах и возле самого шоссе виднелись доты – зияющие мрачные норы, зловещие гнезда смерти, притаившиеся в чащах пышной зелени. Ущелью, казалось, не будет конца. Мелькали противотанковые препятствия – железобетонные надолбы, проволочные заграждения, развороченные минами поля. Затем снова доты и немецкие могилы – скорбные деревянные кресты с нахлобученными на них касками, пустыми касками, от которых в этой чужой стране под огненным солнцем, в тишине знойного дня веяло чем-то особенным, мертвенным и страшным. Печальные безвестные могилы безвестных жертв, покоящихся в тысячах километров от своей охваченной безумием родины.

– Почему ты заговорила о Павле? – внезапно спросил Борис.

– Так просто. Вспомнила вдруг о нем.

– Если бы он не стал коммунистом, из него бы вышел человек.

– Что ты называешь «человеком»?

Борис тупо молчал, не зная, что ответить. У него уже мутилось в голове от коньяка, который он пил с самого утра.

Ирина настойчиво повторила:

– Кого же ты называешь «человеком»?

– Честных людей… патриотов.

– Вроде тебя?

– Ты смеешься надо мной? – спросил он хмуро.

– Нет, я говорю серьезно.

– Я знаю, ты считаешь меня негодяем! – вспыхнул Борис. – Но, не будь меня, ты была бы ничтожной лекаркой… выискивала бы вшей у сопляков в какой-нибудь деревенской школе.

Его опьянение перешло в стадию раздражительности, когда он, несмотря на свою трусость и угодливость, становился заносчивым. А потом он неизменно впадал в оцепенение, и тогда Ирина могла вздохнуть свободпо.

Все это она знала и потому не ответила.

– Мы с ним хорошо подпираем друг друга, – сказал Борис неожиданно примирительным топом.

– С кем?

– С Павлом.

– Вряд ли он рассчитывает на тебя, – заметила Ирина.

– Почему?

– Потому что мы со всем нашим миром идем к гибели.

– Как бы не так! – возразил Борис с оптимизмом пьяного.

Она взглянула на него и подумала: «Дурак!» Она-то знала, что Красная Армия уже вышла на Днестр. Затем спросила с любопытством:

– Как бы ты поступил с Павлом, если бы положение изменилось?

– Конечно, я буду его беречь, – ответил Борис.

Она рассмеялась.

Наконец машина вырвалась из ущелья и въехала в какое-то селение, посреди которого виднелся огромный мост через реку. Моторизованная колонна внезапно остановилась. Борис толкнул шофера в плечо и приказал ему затормозить. Тут Ирина потеряла терпение и громко, Tai;, чтобы слышали шофер и секретарь, спросила:

– Ты все еще трусишь?

– Никто не трусит, – промямлил Борис, пытаясь скрыть свое беспокойство. – Но благоразумие требует…

– Сейчас мы выехали на равнину. Никакой опасности нет.

– Конечно, конечно!.. Мне просто захотелось предложить офицерам коньяку.

– Лучше ничего им не предлагать.

В это время подполковник вышел из машины и в сопровождении адъютанта пошел вперед по шоссе. Кители у них были белы от пыли. Подполковник собирался как следует выругать «штатских», а затем, воспользовавшись положенным по уставу двухчасовым привалом, пройтись по селению и выпить анисовки. Но когда он подошел к назойливо ехавшей впереди машине, брань замерла у него на губах.

– За родную армию! – приветствовал его Борис, протягивая нераспечатанную бутылку греческого коньяка, который стал редкостью в Беломорье.

– Хм!.. – Подполковник все еще кипятился, но старался сдерживаться. – Вы порядком напустили пыли в глаза этой родной армии… Конечно, я шучу! Эге! Настоящий «Метакса»!.. Ну что ж, от болгар подарок принять можно… Покорно благодарим.

Он знаком приказал адъютанту взять бутылку и добавил:

– Какая жара, а? Как самочувствие мадам? Не пройтись ли нам вместе до этого городишка?

– Она устала, – сказал Борис и, заглянув в окно своей машины, спросил Ирину: – Хочешь пройдемся вместе с господами офицерами, дорогая?

А Ирина, ужо не сдерживаясь, прошипела:

– Едем дальше! Ради бога, едем скорее.

Подполковник заверил путников, что на равнине расположены крупные болгарские гарнизоны, которые держат партизан на почтительном расстоянии, так что нападения опасаться нечего, и Борис согласился, что дальше они поедут одни. Во время этого разговора Ирина сгорала от стыда и унижения, не зная, куда деться от насмешливых и дерзких взглядов подполковника, который явно глумился над ее мужем. Отвечая на вопросы Бориса, подполковник не спускал с нее глаз, словно желая сказать: «Я понимаю, что ты вышла за него ради денег и у тебя, наверное, полно любовников». Наконец машина тронулась, и дерзкие глаза подполковника оставили ее в покое.

Близился полдень, и жара сделалась невыносимой. Бедасица и Пирин остались позади, и их очертания постепенно скрывались в синих далях. Горячий встречный ветер не смягчал жары, но хоть высушивал обильный пот. Теперь дорога шла по плодородной равнине, точно по сказочному саду, в котором росли гигантские подсолнечник и кукуруза, хлопок, кунжут, табак и смоковницы, сахарные дыни и великолепные персиковые и абрикосовые деревья.

Но Ирина, испытывая привычную досаду и скуку, смотрела на все это безучастно. На попытки Бориса завязать разговор она но отвечала, все еще чувствуя себя униженной после беседы с подполковником. Думала только, что ей надо выработать для себя новую линию поведения, чтобы оставаться неуязвимой и в присутствии посторонних.

– Дай мне глоток коньяку, – попросила она.

Борис подал ей бутылку, а она тщательно вытерла горлышко, чего никогда не делала раньше, так как муж теперь внушал ей почти физическое отвращение.

– У тебя в Кавалле достаточно коньяку? – спросила она.

– Целый ящик, – ответил он.

А она подумала: «Значит, я смогу одна уехать на Тасос». Мысли ее снова вернулись к этому острову. «Пробуду там неделю, – думала она, – если, конечно, это не окажется гнусным комариным гнездом». Было очень заманчиво отделаться от Бориса хотя бы на неделю. Ободренная принятым решением, Ирина снова стала смотреть по сторонам.

Равнина теперь была каменистой и бесплодной. Лишь местами встречались мокрые низины, покрытые болотной растительностью, кусты терновника, усыпанные белыми Цветами, и выгоревший на солнце тростник; затем потянулись пологие возвышенности с отвесными серо-зелеными скалами. Шоссе вошло в узкое, похожее на каньон ущелье, по дну которого текла река.

Ирина погрузилась в дремоту.

Повеяло прохладой и соленой влагой моря – они приближались к Кавалле. Шоссе извивалось по холмам, изборожденным оврагами и поросшим кустарником и редким лесом, блеклая зелень которого выделялась на фоне обрывов, красно-коричневых осыпей и пепельно-синего раскаленного неба. Наконец машина поднялась на гребень и обогнула последнюю гряду скал, закрывавшую вид на побережье.

И тогда внезапно возникло море – огромный, покойный и синий простор, бездна вод и небес, сливающихся где-то за высоким силуэтом Тасоса, тоже окутанного прозрачной синевой. Справа виднелись смутные очертания Афона, а слева – болотистая равнина Сарышабана, подернутая маревом пойма Месты и темные пятна лесов Керамоти. Впереди, у подножия холма, раскинулась Кавалла – исполинский амфитеатр из белоснежных, жмущихся друг к другу домиков, ослепительно сверкающих на фоне чернильно-синей морской глади; Кавалла – со своим прямым волноломом, древнеримским акведуком, зубчатыми стенами старой венецианской крепости; Кавалла – город огромных табачных складов, круто сбегающих к морю улиц, пляжей, пристаней и парусных лодок; Кавалла – город богатства и нищеты, в котором табак превращается в золото, а труд рабочих – в каторгу, город без зелени, город из белого камня под огненно-синим небом.

Даже уставшая от постоянного раздражения Ирина почувствовала некоторое волнение.

Борис поднес к ее глазам бинокль.

– Большой склад рядом с пристанью – мой, а другие два вправо от него я хочу купить у Кондояниса через подставных лиц.

Она грубо оттолкнула его руку и сказала:

– Я хочу посмотреть так.

Начался длинный спуск. Назад уплывали флотские казармы, многочисленные морские штабы, немецкие комендатуры, виллы, гостиницы. Асфальтированное шоссе перешло в улицу, мощенную гранитной брусчаткой. Пахнуло запахом табака, рыбы, фруктов и гниющих отбросов. От раскаленных стен огромных зданий веяло застойным жаром и духотой. По улицам двигались толпы людей: патрули в шортах, касках и при полной выкладке, с гранатами у пояса и с примкнутыми штыками шли занимать свои посты; матросы с шоколадно-коричневыми лицами, флотские офицеры в ослепительно-белой форме, портовые чиновники с обветренными лицами, в пробковых шлемах и с неизбежными кобурами на поясе, – толпы вооруженных колонизаторов, которые одним глазом следили за греками, а другим с опаской косились на север.

Девочка с восковым личиком и покрасневшими глазами вскарабкалась на переднее крыло машины и, протянув ручонку, тихо пролепетала:

– Псоми!..54

Под вечер, приняв ванну и отдохнув, Ирина сидела на веранде особняка, который Костов нанял год назад, хитроумными маневрами выжив из пего какое-то военное учреждение, в свою очередь занявшее этот дом по праву завоевателя. Главный эксперт «Никотианы», как истый табачный аристократ, сумел хорошо устроить свою жизнь и в Кавалле. Виктор Ефимович служил ему здесь с таким же усердием, как и в большой, на целый этаж квартире по бульвару Царя Освободителя в Софии. Особняк стоял на набережной, просторный двор был засажен олеандрами и кипарисами, под которыми находился круглый бассейн с фонтаном и золотыми рыбками. В наспех построенном гараже стоял темно-синий американский автомобиль Костова, которому дивился весь город. Главный эксперт «Никотианы» получал в Беломорье двойной оклад и, как никогда, блистал здесь элегантностью и великодушной щедростью, за что пользовался почетом среди греков, гораздо большим, чем любой представитель власти, разъезжающий на казенной машине с вооруженной до зубов охраной.

С веранды было видно зарево заката и медно-красное море, которое постепенно бледнело, и водная гладь приобрела блеск серебряной плиты; а за Афоном и складами Каламицы оранжевое небо уже темнело. Ирина в светлом платье из ткани с набивным узором полулежала в шезлонге и любовалась силуэтом Тасоса, проступавшим сквозь прозрачную сиреневую дымку. Костов налил себе вторую рюмку коньяка и залпом выпил. Он был все такой же – высокий, сухощавый, с серебристо-белой копной волос, ослепительно элегантный в свежеотутюженном чесучовом костюме.

– А вы, должно быть, скоро уподобитесь своему шефу, – заметила Ирина, недовольная его пристрастием к коньяку.

– Времени не хватит, – возразил Костов.

Он пододвинул себе плетеный тростниковый стул и сел рядом с Ириной, тоже лицом к острову.

– Долго ли превратиться в пьяную свинью?

– До этого я не дойду. На это ушел бы год, не меньше, а все кончится, может быть, через месяц.

– Неужели положение настолько плохо?

– Оно почти безнадежно, если судить по спешке, с какой Германский папиросный концерн отправляет переработанный табак в Германию… Даже фон Гайер нервничает, а Прайбиш и Лихтенфельд стали просто невыносимы.

– Разве они здесь? – равнодушно спросила Ирина.

– Да!.. Я пригласил их прийти после ужина. Но будут они в скверном настроении.

– Почему?

– Потому что близятся «сумерки богов»… Сегодня утром началась десантная операция на западе. Вообще новости все более приятные. На прошлой неделе одно наше пехотное отделение было целиком вырезано белыми андартами55… Говорят, раненым сначала выкололи глаза, а потом прикончили их.

– Ужасно! – с дрожью в голосе произнесла Ирина.

– Это только нам так кажется… Они действуют но примеру императора Василия, прозванного Болгаробойцей.56

– Какая гнусность! Где они напали на наших?

– Возле Аргирокастро, родины Аристотеля.

– Бедный мудрец!

– Выпьем за него. Хотите коньяку?

– Да, налейте, пожалуйста.

Ирина выпила рюмку и почувствовала, что покрывается испариной. От моря веяло горячей влажной духотой, как от кипящего котла.

– Здешний климат действительно невыносим, – сказала она.

– Вы еще не испытали всей его прелести при полном штиле.

– А вы принимаете атебрин?

– Нет! Я заменяю его коньяком! Атебрин окрашивает кожу и белки глаз в неприятный желтый цвет.

– Как боли в сердце и левой руке?

– Я не позволяю им превращать меня в отшельника.

– Так я и думала. Но что вы скажете о здешнем обществе? Встречаются здесь обворожительные гречанки?

– Обворожительные вовремя бежали в Афины! Остались только простые голодающие женщины, куда как похорошевшие от туберкулеза и малярии. Наш друг Лихтенфельд полностью сохраняет свое жалованье. За кусок хлеба и несколько таблеток хинина он регулярно испытывает блаженство любви.

– Вы сегодня несносны.

– Из-за любезностей вашего супруга… Хотите еще коньяку?

– Нет.

– Тогда разрешите выпить мне. Это настоящий «Метакса», из старого критского вина. Ваш супруг запасся яа целый год.

– Вы завидуете?

– Да, но не тому, что у него хороший коньяк.

Ирина рассмеялась.

– Тогда давайте выпьем за зависть!

Они выпили еще по рюмке, глядя друг другу в глаза, и им стало неловко. Он почувствовал, что Ирина предложила выпить из великодушия, чтобы доставить ему удовольствие, а она – что Костов лишь из галантности размахивает перед нею обрывками своего давнего увядшего чувства. И в то же время они оба поняли, что по-прежнему необходимы друг другу, так как их одинаково тяготит Борис. На веранде появился Виктор Ефимович. Он надел что-то вроде белого смокинга, который удачно перешил из старого чесучового пиджака своего хозяина, и, как обычно, был багрово-красен и умеренно пьян.

– Солнце зашло, – сообщил он с таинственным видом.

– Ну и что? – спросила Ирина.

– Надо вставить сетки в окна. Еще чуть – и налетят комары.

– Не огорчайте гостью с первого же вечера, – сказал Костов.

Ирина предложила перебраться в столовую. С веранды в столовую вела двустворчатая застекленная дверь. Виктор Ефимович вставил в ее проем рамку с частой сеткой, через которую не могла проникнуть мошкара. В столовой, старомодной, но изящной, мебель была из красного дерева темного оттенка, обильно украшенная резьбой; у стены стоял зеркальный буфет. Люстра венецианского стекла бездействовала, рядом с ней на грубом крюке, вбитом в лепной потолок, висела керосиновая лампа, вокруг которой уже толклись комары. Ирина тревожно посмотрела на них, потом пошла в свою комнату и вернулась с хинином в руках. Костов посмеивался, наблюдая, с каким озабоченным видом она проглотила две таблетки. В голове у него промелькнула циничная мысль: «Она хочет в добром здравии воспользоваться заграничными вкладами своего супруга». Потом он равнодушно подумал, что у него-то нет сбережений в заграничных банках, потому что он с давних нор привык устраивать банкеты, держать роскошный автомобиль и блистать элегантностью, так что, когда наступит хаос и «Никотиана» прекратит свое существование, он останется без гроша. А Ирина, словно угадав его мысли, проговорила виноватым тоном:

– Не люблю болеть.

– Когда вы уезжаете в Швейцарию? – спросил Костов.

– Через месяц, если удастся.

– Непременно постарайтесь уехать, – сказал он.

– А вы что собираетесь делать?

– Я останусь здесь.

– Здесь?… – Ирина удивленно посмотрела па него.

– Или в Софии. Тогда для меня всюду будет одинаково.

Его голос необычно дрогнул. Немного погодя Ирина спросила:

– Почему бы и вам не уехать?

– У меня нет денег за границей.

– Потребуйте у него. Он *должен* дать вам.

– Вряд ли даст. Особенно *теперь.*

– Пригрозите, что уйдете из фирмы.

– Это бесполезно! Я уже не необходим, потому что тогда «Никотиане» вообще не нужны будут служащие.

Их голоса становились глуше и мрачнее, и наконец наступило молчание. От накалившихся за день стен исходила теплая и влажная духота. На дворе совсем стемнело, и за проволочной сеткой начиналась комариная оргия – сводящий с ума писк множества тончайших, натянутых до предела струн.

– Это ужасно! – пробормотала Ирина.

– Ничуть! – Костов щелкнул зажигалкой и поднес ее к сигарете. – Просто неизбежно.

Он посмотрел на Ирину со спокойной улыбкой эпикурейца, который испил до дна чашу жизни и уже ничего больше не ждет от нее. Потом бросил взгляд на часы, подсел к приемнику и настроил его на английскую станцию, которую слушал каждый вечер. Диктор говорил о десанте в Нормандии, описывал воздушные бои и бомбардировки. Костов хмуро послушал его и переключил приемник на другую волну. Зазвучал баритон советского диктора, который сообщал о предмостном укреплении на Днестре. Но Костов не смог дослушать и это.

– Ничего особенного, – промолвил он, рассеянно выключая приемник.

– Как «ничего особенного»?…

Ирина взглянула на него, раздраженная его легкомыслием.

– Наступают очень медленно, – сказал Костов.

Ирине показалось, что он прикидывает в уме, сколько времени осталось до тех дней, когда случится нечто такое, что он представляет себе ясно и что вовсе не походит на тот хаос, который смутно рисует ее воображение. Впрочем, ей до этого не было дела. Сейчас она думала только о себе. Зачем им сидеть у Эгейского моря и терять драгоценное время? Ради какой-то последней спекуляции! Словно без нее нельзя обойтись. Она спросила напряженным голосом:

– Что за человек этот Кондоянис?

Костов усмехнулся, поняв, что она тоже прикидывает в уме, сколько осталось времени, и думает только о собственной шкуре. И он ответил равнодушным тоном:

– Богатый грек.

– Мошенник, надо полагать?

– Не больше, чем другие. Просто умный и предприимчивый малый.

– Не могу понять, что за сделку они затеяли!

Костов начал было что-то объяснять, но в коридоре послышались шаги. В комнату вошел Борис.

Четырнадцать лет напряженной жизни, постоянное недосыпание и тысячи рюмок спиртного превратили стройного когда-то юношу в преждевременно состарившегося мужчину, отвыкшего от здорового образа жизни. Борис слегка сгорбился, будто под тяжестью миллионов килограммов закупленного и проданного им табака, и ходил волоча ноги, и его болезненное, бледное, одутловатое лицо говорило о начавшейся тяжелой болезни печени. Вообще он казался развалиной, которая вот-вот рухнет. Дряблые щеки его отвисли, под глазами были мешки, и от этого глубоко сидящие глаза казались совсем запавшими. Мутные, налитые кровью, нерешительные, эти глаза смотрели на все со страхом, словно перед ними неотступно стояли видения ночных кошмаров – обманутая и сошедшая в могилу жена, замученный брат, убитые камнями полицейские, изувеченные стачечники, застреленные саботажники, безмолвные служащие, тысячи и тысячи пожелтевших от никотина и туберкулеза лиц, тысячи и тысячи рабочих – болгар, греков, турок, армян, – которые обрабатывали его табак здесь, в Беломорье, чтобы он мог осуществить свою последнюю спекуляцию – обмануть государство и сбыть этот табак Кондоянису…

Он был в расстегнутой шелковой рубашке и светлых брюках-гольф – тех самых, в которых ехал в машине. Даже не нашел нужным переодеться. Теперь тяжелый сон его немного отрезвил, и он наконец собрался принять ванну, но сначала решил выпить рюмку коньяка. Он поздоровался рассеянно, небрежно, потом рыгнул и, наливая себе коньяк, спросил хриплым голосом:

– Что намечено на сегодняшний вечер?

– Я пригласил на ужин Кондояниса, – ответил эксперт.

– А других?

– Они придут после.

«Другими» были фон Гайер, Прайбиш и Лихтенфельд. один генерал запаса, который скупал мелкие партии табака и перепродавал их с небольшим, по верным барышом Германскому папиросному концерну, мэр города, начальник местной полиции и несколько немецких и болгарских офицеров, которые могли посоветовать, как безопасней проехать в Салоники.

– На ужин я пригласил только Кондояниса – так нам удастся переговорить спокойно, – объяснил Костов.

– Пока можно обойтись и без других, – пробормотал Борис.

Он допил коньяк и спросил;

– Инженер здесь?

– Он уже три дня ждет вас.

– Понимает он что-нибудь в папиросных машинах?

– Пятнадцать лет работает в этой области.

Борис задумался о папиросной фабрике в Салониках, которую Кондоянис передавал ему вместе со швейцарскими франками, за что должен был получить огромное количество табака, остававшегося в Беломорье. Кондоянис обещал переписать фабрику на имя одного итальянца, швейцарского подданного, которому Борис не особенно доверял. Но это была единственная возможность получить за табак хоть что-нибудь. Он налил себе еще рюмку коньяка, боязливо покосившись на Ирину и ожидая обычных упреков. Но она только посмотрела на него холодно и равнодушно. И сейчас это равнодушное отношение к разрушительному пороку, с которым сам Борис был бессилен бороться, вызвало у него вспышку раздражения. Однако Ирина была далека и недоступна – он ничем не мог ее уязвить.

– Сколько просит инженер? – ворчливо спросил он.

– Двадцать тысяч, не считая оплаты дорожных расходов и номера в гостинице, – ответил Костов.

– Много! – Борис недовольно поморщился и медленно поплелся в ванную.

Кондоянис оказался высоким, полным сорокалетним мужчиной с очень смуглым лицом и черными прямыми волосами. Одет он был в белый шелковый пиджак и черные брюки, ногти па руках у него были покрыты лаком. И все же он не мог соперничать с безукоризненной элегантностью Костова. От теплой сырости пиджак его потерял форму, а галстук он выбрал не слишком удачный. Отметив все это с некоторым удовлетворением, главный эксперт «Никотианы» нашел в костюме грека и другой крупный недостаток – складка на его брюках смялась отчасти от влажности, а главным образом потому, что у брюк, очевидно, не было шелковой подкладки на коленях. Во всем «стальном Кондоянис не представлял для Костова никакого интереса.

Грек низко поклонился и поцеловал руку Ирине, пристально глядя ей в глаза. Он явно был поражен ее красотой. В темных неподвижных глазах левантинца она увидела целую гамму чувств – от готовности относиться к ней вежливо и почтительно, с легким оттенком флирта, до откровенного желания оказаться с ней в постели. Ирина сразу почувствовала к нему антипатию: ее раздражала не сама эта гамма, а приторная слащавость ее тонов. Воображение этого человека ограничивалось областью коммерческих операций. Перед своим приходом он прислал с визитной карточкой жалкий и смешной букет из единственного в городе цветочного магазина. И Костов и фон Гайер в подобном случае предпочли бы не посылать ничего. Она удивилась, когда он стал говорить, хоть и правильно, по-болгарски – язык он знал с детских лет, проведенных в Болгарии.

Посреди скучных разговоров о жаре и комарах сели ужинать. Ели судака под майонезом, вкусный пшеничный хлеб, жареную индейку, торт на чистом сливочном масле, все это обильно запивая итальянскими винами. Костов. начисто позабыв о греческих детях, которые рылись в помойках, выискивая арбузные корки, дважды просил извинения за скромный ужин. Господин Кондоянис тоже забыл, что из-за подвигов белых андартов его соотечественникам вот уже пять дней не выдают их жалкого пайка кукурузного хлеба. Антагонизм национальностей кипел только в низших слоях общества, а табачных магнатов торговые интересы превращали в сердечных друзей. Борис и Кондоянис осыпали друг друга любезностями. Поговорив о тяжелых продовольственных затруднениях, от которых явно страдали и миллионеры, господин генеральный директор «Никотианы» предложил господину Кондоянису муки и сахару из своих софийских запасов, а господин Кондоянис не остался в долгу и обещал щедро отдарить господина генерального директора португальскими сардинами и коньяком «Метакса». Ни тому ни другому и в голову не пришло, что обещания эти даются в городе, где семьи безработных греков умирают от голода.

Когда подали кофе и фрукты, разговор принял более деловой оборот.

– Если ход событий ускорится, вам не удастся закончить обработку табака. – сказал грек.

– Ну так что же? – Бориса бросило в нот от этого замечания. – Я могу передать вам право собственности и па необработанный табак.

– Но точное его количество не будет известно.

– Подсчитаем приблизительно и округлим в вашу пользу.

– Сделать такой подсчет по всем сортам технически невозможно. Кроме того, у правительства могут возникнуть подозрения, и сделку признают фиктивной. Б таком случае табак будет конфискован.

– Неужели вы заранее не приняли мер?

Борис бросил на грека презрительный взгляд, словно желая сказать: «Неужели надо тебя учить, как это делается?»

– Очень трудно! – Грек глубокомысленно помолчал и выпустил дым сигареты. – Никто не знает, какие лица войдут в наше правительство после перемирия.

– В таком случае вы могли бы. как французский подданный, получить гарантии дипломатическим путем.

– Во Франции такое же положение. Всюду существует опасность, что к власти придут левые правительства.

– Тогда… в чем дело? – нервно спросил Борис – Вы отказываетесь от сделки?

– Пока нет! – Лицо у Кондояниса стало совершенно бесстрастным. – Мне просто хотелось напомнить, что я рискую. Я попросил бы вас еще немного уступить.

Борис посмотрел на него усталыми, мутными глазами. Он уже был почти готов пойти на уступки, но Ирина, чуть заметно покачав головой, посоветовала ему держаться твердо. И тогда Борис ощутил необычный прилив энергии, Как в те дни, когда он с легкостью давил своих противников, а «Никотиана» процветала.

– Я не могу уступить пи гроша, – сухо заявил он.

– Это, право же, достойно сожаления.

В слащавом теноре грека звучало такое разочарованно, как будто сделка и впрямь расстраивалась.

– Вы отказываетесь? – снова спросил Борис. Теперь Кондоянису стало жарко.

– Я должен еще подумать. – сказал он.

– Тогда будьте любезны сообщить мне свое решение не позже завтрашнего вечера.

– Так скоро?

– У меня только два выхода: закончить сделку с вами или же перевезти табак в Болгарию. События не ждут.

– А куда вы денете свой табак в Болгарии? – с вежливой иронией спросил грек.

– Это уж мое дело.

Голос Бориса звучал решительно и твердо, и Кондоянису стало но по себе.

– Но русские ужо на Днестре!

– От их прихода и вам придется несладко.

– Завтра вечером я сообщу вам свое решение.

Кондоянис ушел вскоре после прихода фон Гайера, который взглянул па него недовольно и подозрительно. Грек понял, что шантажом ему ничего не добиться. Дряхлеющий тигр, у которого он собирался вырвать добычу почти за бесценок, неожиданно оскалил зубы. Возвращаясь домой в автомобиле, грек мысленно составлял проекты договоров и па подлинную, и на фиктивную сделку, радостно предвкушая барыши. Сейчас он выбрасывал миллион двести тысяч швейцарских франков и папиросную фабрику в Салониках, но надеялся получить за это в пять, а то и в десять раз больше в долларах, гульденах и шведских кронах… Лишь бы задержалось продвижение союзников в Нормандии всего лишь настолько, чтобы «Никотиана» успела обработать и передать ему готовый для экспорта табак! И хотя господин Кондоянис слыл греческим патриотом и хорошо знал, что его соотечественники умирают с голоду, но, упоенный радужными надеждами, он всей душой желал, чтобы десанту в Нормандии пришлось туго и за ним не последовал десант в Греции. А в это время изрядно захмелевший от коньяка господин генеральный директор «Никотианы», который слыл не менее видным болгарским патриотом, от всего сердца желал обратного, а именно – чтобы десант в Нормандии развивался успешно и чтобы за ним тотчас последовал десант в Беломорье, хотя и знал, что это будет стоить жизни десяткам тысяч болгарских солдат. Правительство гарантировало ему стоимость табака, закупленного в Южной Фракии, а вторжение англичан предотвратило бы образование нового, левого правительства.

**VIII**

С утра термометр показывал тридцать градусов, которые обещали к полудню превратиться в сорок пять. Над морем нависла прозрачная завеса горячих недвижных испарений, от которых было так душно, что даже тощий Лихтенфельд обливался потом.

В десять часов он вошел в просторную контору склада, с тем чтобы уйти оттуда в одиннадцать и отправиться на пляж, оставив работу на вечер, – время, когда даже бароны могут трудиться, но роняя своего достоинства. Склад находился на пристани, почти у самого моря. Открытые окна смотрели па дремлющий в знойном мареве темно-синий залив, гладкий, как озеро. Полный штиль застиг посреди залива парусную лодку, и она стояла недвижно, точно прикованная, а над прижавшейся к горизонту пеленой испарений белели чахлые облачка, беспомощно таявшие в раскаленном воздухе.

В небольшом зале – первой от входа комнате конторы – были расставлены столы мелких служащих. Под потолком медленно вращались лопасти громадного электрического вентилятора, но он только размешивал воздух, не давая прохлады. Открытые двери вели отсюда в две другие комнаты, в одной из которых работал Лихтенфельд. Барон застал в своей комнате рано вставшего Прайбиша – он заканчивал при помощи арифмометра какие-то вычисления. При виде его барона кольнула зависть. Ведь Прайбиш приехал сюда только на неделю. После назначения Лихтенфельда в Беломорье Прайбиш остался в Софии и таким образом автоматически получил звание эксперта высшего ранга. Барон до сих пор не мог ему этого простить.

Чтобы не дать Прайбишу повода зазнаваться, Лихтенфельд напустил на себя вид беззаботного в легкомысленного весельчака, которому все равно, где жить: в Софии или Кавалле. Фальшиво напевая под нос модную греческую песенку, он снял чесучовый пиджак и пошел в свою комнату, чтобы повесить его на специальные плечики.

Прайбиш выглядел осунувшимся и озабоченным. Он едва ответил на небрежное приветствие Лихтенфельда и снова принялся за арифмометр. Барон запел арию Фигаро, вышел из комнаты и громко, чтобы слышал Прайбиш, начал рассказывать хромому бухгалтеру Адлеру, работавшему в общем зале конторы, как весело можно провести время в Кавалле.

– Вы всюду чувствуете себя счастливым, – кротко заметил Адлер, из вежливости оторвав от бумаг свое унылое лицо.

Это был еще молодой человек, бывший фронтовик-пехотинец, неоднократно раненный. В последнем своем бою он потерял ногу. Не очень-то это тактично – хвастать перед хромым человеком своими успехами у женщин, и барон это понимал, но желание позлить Прайбиша превозмогло чувство приличия.

– Слушайте, Адлер! – продолжал он. – Вчера я познакомился на пляже с одной сиреной. Вы представить себе не можете, какие у нее бедра!

– А разве у сирен бывают бедра? – улыбнулся Адлер.

– Вы правы, черт возьми! – согласился Лихтенфельд. – Но сегодня вечером она явится ко мне. Здесь женщины прямо проходу не дают.

Барон громко и отрывисто расхохотался, словно подобные приключения были для него столь обыденными, что о них и говорить не стоило. Он подошел к зеркалу и стал приглаживать остатки своих поредевших волос. Теперь он не сомневался, что Прайбиш сгорает от зависти – бедный, неуклюжий, толстый Прайбиш, которому до смерти хотелось, но никак не удавалось завести любовницу.

Внезапно барон застыл на месте. В дверях комнаты показалась фрейлейн Дитрих. Ни один человек во всем Беломорье так не отравлял жизни барону, как фрейлейн Дитрих, которая внушала ему и ненависть и страх. Лихтенфельд знал, что эта отвратительная старая дева была агентом гестапо и откомандирована из посольства для работы в концерне. Вначале он не подозревал об этом и, приехав в Каваллу, не скупился на остроты по ее адресу; когда же узнал, где она служит, то замер от ужаса и целую неделю ждал ее мести. Но все ограничилось тем, что она вызвала его к себе и конфиденциально посоветовала ему порвать с Зарой. Оказалось, Зара завязала дружбу с секретарем турецкого посольства.

Входя в контору, Лихтенфельд был уверен, что фрейлейн Дитрих нет на месте. Обычно она являлась на работу посте одиннадцати, но в этот день, как на беду, пришла раньше, и барон испугался не на шутку.

– Пройдите ко мне! – сухо произнесла она.

Спустя несколько секунд Лихтенфельд, присмиревший, стоял перед ее письменным столом. Фрейлейн Дитрих смерила его с головы до пят своими круглыми водянистыми глазами. Лихтенфельд не раз отмечал про себя, что глаза эти нельзя назвать ни страшными, ни злыми. Но они были гораздо хуже, чем страшные или злые. Они были совершенно бесчувственные. И как всем, кто разговаривал с фрейлейн Дитрих, Лихтенфельду казалось, что на пего смотря! глаза жабы или саламандры.

– Я и не подозревал, что вы здесь… – забормотал барон. – Я прошу прошения.

– За что?

– За мой разговор с Адлером.

– А о чем вы говорили?

– Так, о пустяках… мужская болтовня.

– Я ничего не слышала, – сказала фрейлейн Дитрих.

Голос у нее был под стать глазам – казалось, он исходил из замерзшего водоема. Она открыла какую-то папку и протянула барону белый конверт.

– Письмо для вас из Кенигсберге кого военного округа, – сказала она. – Вероятно, повестка в армию, какую получил и Прайбиш.

Как ни жарко было в тот день, барона пробрала холодная дрожь.

– Повестка, вы говорите?

– Да, распишитесь.

Фрейлейн Дитрих подала ему бланк с печатью посольства, которое переслало сюда повестку.

– Подождите! – Лихтенфельд сразу охрип. – Ведь я… я по гражданской мобилизации направлен сюда.

– Сейчас это не имеет значения. На Восточный фронт берут и старшие возрасты.

– Но я… не могу подписать… так сразу… – Барон беспомощно заикался и, словно ища сочувствия, заглядывал в ледяные глаза фрейлейн Дитрих. – Я должен сначала поговорить с шефом.

Фрейлейн Дитрих с удивлением посмотрела па него.

– Вы не распишетесь? – спросила она.

– Нет! – ответил барон с решимостью отчаяния, ибо перед ним возникли страшные видения русских степей. – Нет! Я буду хлопотать.

– О чем хлопотать?

– Чтобы меня освободили. Я… я необходим фирме.

– Это решат без вас.

У Лихтенфельда пересохло во рту. Длинное, побуревшее на пляже лицо фрейлейн Дитрих внушало ему отвращение, а ее жабьи глаза напоминали мутно-зеленые лужи. Барону почудилось, будто лужи эти разливаются и грозят поглотить его так же, как в темные осенние ночи мутные воды Шпрее смыкаются над очередным утопленником.

– Значит, вы отказываетесь принять письмо?

От холодного голоса фрейлейн Дитрих барона снова бросило в дрожь. Оп знал, что рано или поздно повестку придется принять, но какая-то безумная надежда толкала его на то, чтобы выгадать хотя бы несколько часов. Фрейлейн Дитрих убрала конверт и снова склонилась над письменным столом. Барон медленным шагом направился в свою комнату к Прайбишу. Он и не заметил презрительного взгляда, которым проводил его Адлер. Прайбиш был растерян не менее Лихтенфельда. Его крупное румяное лицо покрылось капельками пота, но он продолжал работать с усердием простолюдина, дослужившегося до фельдфебеля. Барон сел против него в кресло и закурил сигарету, которая показалась ему совершенно безвкусной.

– Значит, вы тоже получили повестку? – спросил он, стараясь казаться спокойным.

Прайбиш кивнул головой, прокрутил рукоятку арифмометра и подозрительно взглянул на Лихтенфельда.

– Вы расписались в получении? – спросил Лихтенфельд.

– Расписался, конечно! – ответил Прайбиш. – Что мне оставалось делать?

– Когда принесли повестки?

– Вчера, во второй половине дня.

– Шефу сообщили?

– Не знаю.

Барону показалось, что Прайбиш что-то скрывает.

– Что вы думаете по этому поводу?

– Ничего, – с лукавым смирением ответил Прайбиш. – Придется двигаться.

– Послушайте, Прайбиш! – вспылил барон. – Вы думаете, что уже обтяпали свое дельце, по я, прежде чем хлопотать в Берлине, хотел бы поговорить с вами по-товарищески.

– О чем нам говорить?

– Здесь скопилось много табака, который должен быть принят и отправлен в Германию. Если пас с вами мобилизуют, фон Гайер один не справится.

– Вызовут экспертов из Гамбурга.

– Они ничего не понимают в восточных табаках.

– Значит, вы думаете, что вермахт может нас освободить?

Лицо Прайбиша выразило притворное недоверие. Барон понял, что надо говорить без обиняков.

– Не прикидывайтесь, Прайбиш! Вы хорошо знаете. что шеф будет хлопотать за одного из нас… И этим одним должен быть я.

– Почему? – мрачно спросил Прайбиш.

– Потому что я старше вас.

– До сих пор вы всегда утверждали обратное.

– Я шутил… Кроме того, у меня повышенная кислотность. Я не выношу консервов, не перенесу жизни в окопах… Я больной человек.

– Ничем вы не больны, – отрезал Прайбиш и снова взялся за арифмометр. – И никакой язвы у вас пет. Просто у вас избалованный желудок. А я отец четверых детей.

Лихтенфельд содрогнулся под тяжестью этого аргумента, который до сих пор не приходил ему в голову. Ужасы войны на Восточном фронте, сведения о которых просачивались между строками военных корреспонденции, из рассказов солдат-отпускников и повествований Адлера, снова всплыли в его воображении. Барона охватил животный страх при мысли о бесконечных равнинах, скованных льдом зимою и жарких, как пустыня, летом; страх перед яростным противником, которому заводы далекого Урала подбрасывают все больше и больше оружия; страх перед бесчисленной пехотой и артиллерией, которые без передышки, без устали, без всяких признаков ослабления громят, окружают, перемалывают огромные немецкие армии. И чем более разрастался этот страх в душе барона, тем лучезарнее казался ему блеск моря, тем милее было спокойствие конторы, легкий шум вентилятора, тихие послеполуденные часы отдыха и вечерние удовольствия. Было от чего прийти в отчаяние! Да, черт побери, у Прайбиша были дети – несокрушимый аргумент, которому бесполезный для расы старый холостяк ничего не мог противопоставить. Но у барона еще теплилась надежда, и он решился на последнее унизительное средство – умолить Прайбиша.

– Послушайте, Прайбиш… Мы уже столько лет знаем друг друга… Я прошу вас уступить… Если бы в свое время мой отец не замолвил за вас словечко, вас бы не приняли надзирателем на фабрику… Ваше продвижение началось с фабрики братьев Нильзен, вы это помните?

Прайбиш нахмурился.

– До сих пор я всегда уступал вам, – сказал ou немного погодя.

– Но недавно вы получили повышение.

– Да. Зато у меня Польше работы и больше ответственности.

– Вас повысили за счет моего продвижения.

– Нет! – возразил Прайбиш. – Я работаю на совесть, а вы – спустя рукава. В Гамбурге об этом знают. Будь вы трудолюбивы, преимущество было бы на вашей стороне.

– Не будем об этом говорить… Я вас прошу… Давайте договоримся!.. Вы должны уступить… В конце концов ведь я – Лихтенфельд.

Румяное лицо Прайбиша помрачнело еще больше, и в его маленьких глазках погас лукавый огонек. Барон встал, подошел к окну и задумался, подавленный гнетущим предчувствием, что мир идет к гибели. И вдруг в голову ему пришел дерзкий план. Он вернулся к фрейлейн Дитрих и глухо проговорил:

– Дайте письмо, я распишусь в получении.

Прайбиш снова склонился над арифмометром, но ему уже не работалось. Темный многовековой страх перед баронами Лихтенфельдами, на чьей земле выросли его предки, его родители и он сам, выводил его из равновесия. По его расстроенному лицу мелкими струйками потек пот.

В белом костюме и с тростью в руке фон Гайер, прихрамывая, возвращался с пляжа, собираясь осмотреть город, пока не станет слишком жарко. После душной ночи, проведенной без сна, купанье освежило его, но не смогло разогнать мрачных мыслей, не оставлявших его даже после ужина у Костова. Он видел насквозь мелкие хитрости «Никотианы», которая пыталась затянуть обработку табака, предназначенного для Германского папиросного концерна. Борис теперь старался угодить Кондоянису, а но концерну. Мошенническая сделка с Кондоянисом была шита белыми нитками, и фон Гайеру ничего не стоило предотвратить ее с помощью гестапо, но он решил этого не делать. Арестовать грека и помешать заключению сделки значило бы испортить отношения с Голландским табачным картелем – исполинским золотым мешком и каналом, по которому в Германию поступала иностранная валюта. Перед картелем покорно опускались руки даже у самых исступленных гитлеровцев. Фон Гайер знал все это и тем не менее был раздражен уловками Бориса, который отказался сдать партию табака на месяц раньше обусловленного срока, хотя имел для этого все возможности. Расчет Бориса был прост: если хаос наступит быстро, отправка табака в Германию сорвется и тогда предназначенная для концерна партия товара перейдет к Кондоянису.

«Гнусный тип!..» – подумал немец, гневно постукивая тростью по раскаленным камням мостовой. Но тут же ему пришло в голову, что каждый на месте Бориса поступил бы так же. Таков закон наживы. Почему «Никотиана» должна жертвовать собой ради интересов концерна? Немецкий корабль начал тонуть, и первыми с него бежали крысы. Признаки паники, измены и вероломства исходили не от правительства, не от местной администрации, не от армии, а от «Никотианы», которая привела немцев в Болгарию и хорошо на них заработала.

Ирина, которая пыталась обмануть его своим молчанием, и та казалась теперь фон Гайеру огромной крысой. Вчера вечером у Костова она не проявила никакого желания говорить о прошлом. Вид у нее был скучающий и равнодушный. Они обменялись лишь банальными любезностями, и немца это уязвило. Исчезновение этой женщины из его жизни оставило после себя пустоту, которую ничем нельзя было заполнить.

И поэтому, когда он неожиданно столкнулся с ней на тротуаре, ему стало жаль, что он в свое время не сумел силой характера и деньгами удержать ее. Теперь же она была недосягаема и принадлежала только самой себе. Ирина была в чесучовом платье и туфлях на босу ногу, но этот простой костюм, в котором она походила на обыкновенную канцелярскую служащую, был именно таким, какой следовало носить в жару, и очень шел к ее гибкому, как у пантеры, сильному телу. Лишь маленькие платиновые наручные часики, украшенные изумрудами, говорили о том, что она – существо из другого мира и не имеет ничего общего с людьми труда. Она шла, сосредоточенно глядя перед собой, и не заметила фон Гайора – а может быть, и не пожелала заметить, – но, когда он стал у нее на дороге с мрачной решимостью задержать ее, чего бы это ни стоило, она приподняла темные очки и сказала просто:

– А. это вы? Я бы вас и не заметила в этих очках. – Потом взяла его за руку и быстро добавила: – Проводите меня до пристани. Я хочу узнать, когда отправляется катер на остров.

Не раздумывая, он послушно пошел за ней, опьяненный неожиданной встречей и прикосновением ее руки.

– Значит, вы решили прокатиться па остров?

– Да.

– Одна?

– Если не найдется попутчика.

– Вам будет неудобно ехать в тесноте. Я могу попросить для вас катер у Фришмута.

– В самом деле? Это было бы чудесно.

– Фришмут теперь уже генерал.

– Какой успех! Поздравьте его от моего имени. Вы ему завидуете, не правда ли?

– Да, – мрачно признался немец.

– Тут судьба сделала ошибку. В сущности, Фришмут рожден быть директором табачного концерна, а вы – генералом.

– Вы неплохая утешительница.

– Я просто упрекаю вас в тщеславии.

– Разве?

– Да, вы страдаете манией – хотите умереть, как Нибелунг.

– А как. по-вашему, надо умирать?

– Как Петроний. В приятной обстановке, во время остроумной беседы.

– Это тоже поза.

– Кто же умирает без позы?

– Солдаты! – тихо ответил немец. – Они не успевают принять хоть какую-нибудь позу.

Они молча прошли несколько шагов. Ирина вдруг остановилась и сказала:

– Если Фришмут даст катер, тогда незачем ходить на пристань.

– Да, вы правы, – согласился фон Гайер, задумчиво глядя на ее блестящие иссиня-черные волосы, уложенные валиком.

Ирина вдруг спросила:

– Вы не хотите проводить меня на остров?

– Если только вашему мужу это не покажется дерзостью…

Она рассмеялась и небрежно бросила:

– Он был гораздо более дерзким, чем мы с вами.

– Где он сейчас?

– Уехал куда-то с Костовым.

– Не в Салоники?

– Нет, не в Салоники.

– Деловая тайна, наверное?

– Никакой тайны пет. Просто мне не пришло в голову спросить, куда они собрались. Но ему нужно ехать в Салоники.

– Знаю, – сказал немец.

– А почему вы знаете?

– Костов ходил к Фришмуту за путевым листом.

– И вы ему не воспрепятствовали?

– Нет, я решил не мешать.

– Послушайте! – сказала Ирина полушутя, полусерьезно. – Будет безобразием с вашей стороны, если вы подстроите какую-нибудь гадость Кондоянису через гестапо.

– Ничего мы ему не сделаем.

– Вы обещаете?

– Да. – Фон Гайер печально улыбнулся. – Снова этот грязный табак становится между нами.

– Отвратительно, правда? – Ирина тоже улыбнулась. – Но на этот раз он не такой уж грязный.

– Я в этом не уверен… Во всяком случае, сделке я не помешаю.

Ирина посмотрела ему в глаза и сказала:

– Не становитесь смешным! В конце концов, сделка – мелочь и не меняет наших с вамп отношений. Арестуйте грека, если так угодно вашему дурацкому концерну. Табак не должен отравлять наши последние дни.

– Зачем вы зовете меня на остров? – с горечью спросил фон Гайер.

А Ирина ответила:

– Потому что одной мне будет скучно.

Они остановились на площади, оживленной и многолюдной, несмотря на жаркую пору дня. В толпе шныряли хилые ребятишки, которые громко расхваливали свой товар, предлагая прохожим купить спорию57 и мегали пастики.58 «Пастики» представляли собой смесь из жареного гороха, глюкозы и всевозможных пищевых отходов. Но лишь немногие греки могли позволить себе покупать даже эти сомнительные сласти.

– Ведь мы решили не ходить на пристань?

– Да. Так– что же нам делать? – спросил фон Гайер.

– Посмотрим город, а потом передохнем где-нибудь.

– Прекрасно. Надеюсь, мы не будем ссориться.

– Это было бы идиотством. Особенно если вы вызовете ссору до поездки на остров.

– А вам все еще хочется съездить туда?

– Конечно. – ответила Ирина. – И я прошу вас как следует организовать экскурсию… Что это за строение?

– Какая-то азиатская нелепица.

На восточной стороне площади среди тенистого ухоженного сада, в котором росли кипарисы, возвышалось небольшое здание, окруженное железной оградой и с виду напоминавшее мусульманскую гробницу. Ирина и фон Гайер решили осмотреть его и узнали от сторожа, что это усыпальница, в которой покоится мать Мухаммеда-Али – основателя царствующей египетской династии. Здание было построено в арабском стиле. Внутри стоял мраморный саркофаг, стены были расписаны изречениями из Корана. Стройные скорбные кипарисы придавали этому месту погребальную торжественность, которую, впрочем, нарушала крикливая болтовня, доносившаяся из расположенных вокруг кофеен и рыбных лавок. Сторож был человек опрятный и приторно любезный. Заметив, что посетители интересуются старой венецианской крепостью в верхней части города, он предложил им своп услуги в качестве гида. Фон Гайер попросил его прийти через полчаса к крепости и ждать их там.

– Что это за тип? – спросил немец, когда они выходили из усыпальницы.

– Чистейший помак59 из Родоп, – ответила Ирина.

– Но он назвал себя македонцем.

– Потому что быть греком или болгарином теперь не слишком приятно.

– Все-таки почему же он скрывает, что он болгарин?

– Потому что думает о том. что будет потом.

Немец взглянул на Ирину, неприятно пораженный ее беззаботным тоном. Ему показалось, что предчувствие надвигающегося краха коснулось и ее.

– Вам все равно! – сказал он мрачно.

– Что именно?

– Что грозит поражение.

– Ах, да, я и забыла, что вам это не все равно. Вы по-прежнему сентиментальны, но теперь уже искрение. Вы человек средневековья, феодальный пережиток, который случайно попал в среду азиатских жуликов и торговцев табаком.

– Разве вы не думаете о своей родине? – все так же мрачно спросил фон Гайер.

– Пет, – ответила она. – Я разучилась думать о родине.

– Вы начинаете упиваться цинизмом.

– Цинизм – добродетель сверхчеловеков. Не вы ли проповедовали мне это одно время?

– Когда?

– Когда немецкие бомбы сыпались па Варшаву и Роттердам.

– Вы всегда понимали меня превратно.

– Нет, я всегда вас хорошо понимала. И может быть, именно поэтому сочувствую вам теперь.

Ирина улыбнулась, по ни в улыбке ее, ни во взгляде фон Гайер не увидел и тени сочувствия, а лишь одно холодное равнодушие, которое пронзило его, словно острый нож. Очевидно, душа ее была опустошена. Он понял, что сила, превратившая его из солдата в торгаша, сделала Ирину бездушным космополитическим манекеном, которого уже ничто не волнует. По он понял и другое: что никогда он не был солдатом, а лишь слугой и наемником концернов, правивших Германией. Это относилось и к летчикам эскадрильи Рихтгофепа. Мучительное предчувствие надвигающейся разрухи развеяло в прах многие иллюзии. Но сейчас мысли фон Гайера были заняты только этой женщиной с мертвой, растраченной душой, так похожей на его душу. Он по-прежнему любил и желал ее с первобытной страстью, которая уцелела и посреди этой разрухи.

Сначала они направились в западную часть города. В прибрежных кварталах было много новых строений – высокие здания учреждений, табачные склады, большие жилые дома, а по бокам шоссе, ведущего в город Драму, просторно раскинулись богатые особняки, утопающие в буйной субтропической растительности. Затем они пошли круто взбегающей на гору улицей и стали подниматься по гранитным ступеням к старым кварталам города, совсем непохожим на новые. Тут не было ни дворов, ни зелени – Жалкие полуразвалившиеся домишки с решетчатыми окошками, на которых сушилось рваное белье и пеленки. теснились между накаленными солнцем скалами, а на порогах сидели старухи, погруженные в невеселое раздумье. Время от времени встречался какой-нибудь безработный, который спускался по ступеням улички, и на лице его было написано застывшее равнодушие и к голодной жене, которая выгнала его из дому, и к солнцу, и к голубому простору. Пожелтевшие от малярии дети играли в бабки, а другие, изнуренные голодом и дизентерией, разъедавшей внутренности. тихо сидели с недетским озлоблением на лицах. Из-за ситцевой занавески иногда выглядывала женщина и разочарованно отходила от окна. От хромого иностранца нельзя было разжиться и куском черствого матросского хлеба, потому что рядом с ним шла красивая дама с гладким, как слоновая кость, лицом – ненавистная соперница на ярмарке любви. Занавеска опускалась в ожидании солдата пли матроса с хлебом в руках. От тихой улички веяло гнилью разложения, затаенной враждебностью и гнетущей сонливостью. Ирина спросила:

– Как вам правится эта часть города?

– Она похожа па помойную яму, которую лучше было обойти стороной.

– Я тоже так думаю. А вам не кажется, что мы страшно очерствели?

– Что-либо другое было бы смешно и бесполезно.

– Пудь с нами Костов, он тут же начал бы раздавать депы п.

За это я и не терплю его. – сухо произнес немец.

Они опять спустились на площадь, потом направились к холму, на котором стояла крепость. Снова пришлось подниматься по крутым улицам, похожим на узкие, накаленные солнцем ущелья. Дышать было нечем – от жалких домпгаек несло зловонием. Наконец они поднялись на холм, к подножию крепости, и присели отдохнуть в тени чинары.

Отсюда был виден весь. город, и не только город, но и тень холмов, по которым петляло Драмское шоссе. Синий залив по-прежнему казался застывшим. Немецкий торпедный катер бороздил его зеркальную поверхность, оставляя за собой длинную полосу молочно-белой пены. Вдали, но ту сторону залива, в кобальтово-синем небе терялась цепь бесплодных желтоватых холмов.

Немного погоди на холме под чинарой появился сторож гробницы, запыхавшийся и вспотевший от трудного подъема. Прежде всего он вынул часы, чтобы показать, как он точен, потом подошел к крепости и большим старинным ключом отпер ворота. Они вошли во двор. Двор этот густо зарос диким. маком, беленой, мальвой и какими-то незнакомыми колючими растениями, в которых жужжали насекомые. По камням сновали ящерицы. Осыпавшиеся ступени вели на крепостные стены с бойницами, к башням, которые были возведены из пепельно-серого камня и мягко выделялись ira фоне лазурной глади залива.

Ирина и фон Гайер стали подниматься на стену, и с каждым их шагом вниз сыпались мелкие камни и известка. Предчувствие гибели и безнадежность, в чем оба они сейчас находили какую-то прелесть, нарастали в тиши этой заброшенной крепости, среди этого мертвого запустения.

– Все это прямо для вас, – сказала Ирина.

Немец промолчал. Взгляд его, затуманенный и смягчившийся, блуждал по синему простору залива и, казалось, видел корабли средневековых завоевателей – мрачные галеры иод парусами, с чугунными пушками и рядами закованных в цепи гребцов. В его воображении возникли картины десанта сарацинских пиратов, тревоги в крепости, опустошительного вторжения разбойников в город и неизбежной при этом резни. И все эти картины волновали его, как старинная сказка о минувших днях, которые никогда не вернутся.

– Отсюда венецианцы защищали город, – сказал он погною погодя.

– Для чего им понадобилось это пекло? – спросила Ирина.

– Для торговли, – ответил немец.

И сразу же рассеялась романтика прошлого – фон Гайер подумал, что венецианцы, некогда владевшие этой крепостью, были так же неразборчивы в средствах, как и Германский папиросный концерн. Он опустил голову и сковырнул тростью камешек с бойницы. Крепость превратилась для него просто в скучную груду развалин венецианской торговой фирмы.

Они спустились со стены и, пройдя двор, углубились во внутреннюю часть крепости, разделенную низкими перегородками на небольшие отсеки, которые можно было оборонять один за другим в тех случаях, когда противнику удавалось перебраться через наружную стену. Перед Ириной и фон Гайером открывались двери караульных помещений, водохранилищ, покоев военной знати, карцеров, окруженных рвами, кладовых, в которых хранились боеприпасы и продовольствие. Дубовые двери, окованные ржавыми железными полосами, скрипели протяжно и тоскливо под сводами высоких башен и темных сырых казематов. Из-под случайно сдвинутых камней выскакивали скорпионы, и сторож давил их каблуком, В стенных нишах висели в сонном оцепенении летучие мыши. На иолу валялись мумифицировавшиеся в сухом воздухе трупы хищных птиц, нашедших свое последнее убежище среди этого тоскливого запустения. Наконец Ирина и ее спутник кончили осмотр и с чувством облегчения снова увидели над собой синее небо.

Когда они уже собрались уходить, они увидели, что во двор крепости вошло отделение болгарских солдат. Худой и болезненный подпоручик, изжелта-бледный от ежедневного обязательного употребления атебрина, давал отрывистые распоряжения. Несколько солдат устанавливали два тяжелых зенитных пулемета, а остальные маскировали их зеленью. Работали они торопливо и судорожно, словно приказ запять эту позицию был только что получен и требовал немедленного исполнения. Сторож сразу стал серьезным, и от его угодливой улыбки не осталось и следа.

– Что случилось? – спросила Ирина.

Фон Гайер пожал плечами: лицо его по-прежнему было невозмутимо.

– Попробуйте расспросить офицера, – сказал он.

Ирина подошла к подпоручику, который был так поглощен своим долом, что но заметил появления посторонних во дворе крепости.

Это был мрачный и озлобленный молодой человек – он окончил школу офицеров запаса, и вот уже два года, как его мобилизовали. Существующий режим, правительство и армейские порядки довели его до того, что он возненавидел все на свете. Он не был коммунистом, но бесился при мысли, что его бывшие однокашники сидят в тылу и спокойно занимаются торговлей, зная, что мобилизация никогда их не коснется. Какие бы ни происходили перемены, эти привилегированные субъекты сохраняли свою шкуру, тогда как он должен был совершать жестокости по приказу свыше и под страхом военного суда, и поэтому он с угрюмой злобой и нетерпением ожидал конца, разрухи, поражения, надеясь увидеть на скамье подсудимых и министров, и своих начальников, хоть и знал, что ему самому тоже не уйти от ответственности за то, что он выполнял их безумные приказы.

– Извините, – обратилась к нему Ирина. – Вас что-нибудь тревожит?

Молодой подпоручик взглянул на нее злобно и насмешливо, словно хотел сказать: «А разве до сих пор вам казалось, что все спокойно?» Изумруды на ее платиновых часах настроили его враждебно. Ирина объяснила, что хочет прокатиться на остров.

– Не советую, – вроде бы смягчившись, промолвил офицер. Ирина стояла перед ним как олицетворение мирного спокойствия тыла, по которому он так стосковался. – По всему побережью объявлена боевая тревога.

– Что это значит?

– Возможно, готовится десант. От Крита отошел английский конвой. Если он свернет к Африке, дадут отбой, и тогда вы сможете съездить на остров.

– Влагодарю вас, – сказала Ирина.

Солдаты проворно устанавливали пулеметы па лафеты. И эти зенитные пулеметы, оснащенные прицелами, винтами и рычагами, представляли странный контраст с валявшейся в траве старинной венецианской пушкой – грубой чугунной трубой с очень толстыми стенками и маленьким отверстием для фитиля на глухом конце.

Ирина вернулась к фон Гайеру и рассказала ему о своем разговоре с подпоручиком.

– Надо будет подробнее узнать у Фрншмута, – отозвался немец.

Его снова охватили тревога и знакомое чувство обреченности. Затем тревога исчезла и осталось только предчувствие гибели, которое превратилось в поющую тоску. Но в полуденной тишине, под знойным солнцем, среди раскаленных скал чужой земли он находил в этой тоске какую-то сладость. Они снова спустились па площадь, которая стала безлюдной и тихой. Жара прогнала все живое в тень. По горячему граниту мостовой сновали только хилые босоногие дети и, как голодные собачонки, вертелись около болгарских ресторанов. Фон Гайер расстался с Ириной, обещав позвонить ей после разговора с Фришмутом.

Он пошел но теневой стороне площади к складу Германского папиросного концерна. Оттуда он собирался поговорить по телефону с главным интендантством германского корпуса во Фракии. Для перевозки табака из Каваллы и Драмы до железнодорожных станций южной Болгарии можно было использовать военные грузовики, подвозившие из Болгарии продовольствие. Эта идея, пришедшая ему в голову на пляже, отчасти разрешала задачу скорейшего вывоза табака в Германию.

По-прежнему удрученный и занятый своими мыслями, фон Гайер вошел в склад Германского папиросного концерна. В просторном помещении было прохладно и стоял запах бродящего табака. Огромные лопасти вентилятора в конторе медленно вращались, словно крылья ветряной мельницы. Служащие встретили шефа молча, почтительно поднявшись со своих мест. Фон Гайер поднял руку и еле слышно пробормотал фашистское приветствие, на которое фрейлейн Дитрих ответила громко и торжественно: «Хайль Гитлер». Она тут же уступила шефу свой письменный стол. Фон Гайер расположился в мягком кресле и вопросительно посмотрел на нее.

– Прайбишу и Лихтенфельду прислали повестки, – сообщила фрейлейн Дитрих.

– Надо будет возбудить ходатайство.

– О ком?

– О Прайбише, конечно! – Фон Гайер с удивлением взглянул на фрейлейн Дитрих. – Немедленно напишите письмо в военное министерство и отправьте его через посольство. Еще что-нибудь есть?

– Штаб в Салониках объявил боевую тревогу по всему побережью.

– Знаю, – ответил фон Гайер.

Наступило неприятное и натянутое молчание, нарушаемое только шумом вентилятора. В соседней комнате тихо кашлянул Лихтенфельд.

– Что будем делать с табаком? – спросила фрейлейн Дитрих.

– Будем отправлять его до последнего. момента. Немка одобрительно кивнула, но ее длинное неприветливое лицо бесполого существа осталось бесстрастным.

– Директор «Никотианы» замышляет сделку с Кондоянисом, – сказала она немного погодя.

– От кого вы это узнали? – сухо спросил фон Гайер.

– От его бухгалтера. Он наш агент.

– Я уже просил вас предоставить мне самому заниматься торговой разведкой, – резко заметил фон Гайер.

Фрейлейн Дитрих протянула длинную костлявую руку и закрыла дверь, ведущую в зал, где работали служащие.

– Ваши соображения лишены основания, – холодно возразила она.

– Почему? – Фон Гайер еле сдерживал возмущение.

– Потому что сделка «Никотианы» с Кондоянисом нанесет ущерб интересам концерна и вообще интересам Германии.

– Вы недостаточно компетентны, чтобы разбираться в этом.

– Мне даны ясные указания по этому вопросу. Табак, который «Никотиана» предлагает Кондоянпсу, предназначался для нас.

– А как мы его вывезем?

Водянистые глаза фрейлейн Дитрих враждебно и тупо уставились на бывшего летчика.

– Найдем средства, – сказала она, с гордостью сознавая, что безупречно выполняет свои политические функции в концерне. – Не вижу, почему мы должны оставлять табак неприятелю.

Фон Гайер густо покраснел. Он никогда не допускал и мысли, что может ударить женщину, но сейчас был готов избить фрейлейн Дитрих. От глаз ее ужо не веяло холодом. Теперь они горели, и в их пламени истеричность смешивалась с тупым упрямством, поразительно напоминая исступленные глаза фюрера на официальных портретах. Но фон Гайер не вспылил, а только беспомощно опустил голову.

– Фрейлейн Дитрих! – промолвил он немного погодя. – Вы знаете, для кого покупает табак Кондоянис?

– Для кого? – презрительно спросила уполномоченная гестапо.

– Для Голландского картеля.

– Ну и что же?

– Вот видите, вы, оказывается, не в курсе дела. – Фон Гайеру самому было противно слышать свой неестественно мягкий голос. – Голландский картель – один из немногих каналов, по которым Германия получает ппостранную валюту. Если вы арестуете Кондояниса, вы повредите интересам правительства. Мы сразу же получим нагоняй из Берлина.

Фрейлейн Дитрих призадумалась.

– Хорошо, – сказала она. – Я запрошу указаний из Софии.

Глаза ее снова стали бесстрастными и холодными.

Фон Гайер поднялся из-за стола и нервно закурил. Полуденное солнце светило в южные окна, и жара в помещении становилась невыносимой. Все с нетерпением ожидали ухода фон Гайера, чтобы прекратить работу. Фон Гайер позвал экспертов и отправился с ними в обход склада, время от времени задавая им официальным тоном вопросы о ходе сортировки и обработки табака. Прайбиш предательски отмечал бесчисленные промахи Лихтенфельда, но лицо барона застыло в надменном и загадочном спокойствии. Фон Гайер против обыкновения тоже воздерживался от убийственных колкостей по адресу Лихтепфельда. Он знал, что скоро отделается от барона, и мелочное злорадство Прайбиша было ему неприятно. Прайбиш понял это и умолк, тревожно озадаченный спокойствием Лихтепфельда. Наконец фон Гайер закончил обход и сел в автомобиль, поджидавший его па улице. Прайбиш пошел в ресторан, а Лихтепфельд вернулся в контору. Здесь уже было жарко, как в бане, однако Адлер и фрейлейн Дитрих, обливаясь потом, сидели с деловым видом за своими столами. Барон вошел в кабинет фрейлейн Дитрих и плотно закрыл за собой дверь.

Адлер никогда не подслушивал, по тут внезапно поднял голову от бумаг. Не вставая с места, он разобрал несколько слов из разговора за дверью. Барон что-то невнятно шептал, а фрейлейн Дитрих отвечала ему громко и холодно, как знающая себе цепу кельнерша ночного ресторана, которой засидевшийся посетитель вежливым тоном делает гнусное предложение. Вначале голос фрейлейн Дитрих звучал насмешливо и недоверчиво, а потом вдруг стал серьезным и тихим и тоже перешел в невнятный шепот. И тогда Адлер понял, что за дверью совершается что-то унизительное, подлое и мерзкое, позорящее мужское достоинство и солдатскую честь. Ои бросил работу и, чтобы не слышать больше, ушел, расстроенный, из конторы.

После обеда Ирина спустилась в нижний этаж дома, где было не так жарко, но пахло плесенью и старой мебелью, – этот специфический запах, порожденный теплым влажным климатом, стоял здесь в каждом доме. Ирина хорошо выспалась в комнатке с заросшими плющом окнами во двор и вновь ощутила тоску, одолевавшую ее всякий раз, как она просыпалась. То было какое-то неясное, приглушенное чувство лепи, усталости и грусти, которое сковывало малейшие порывы воли и движение мысли. Стараясь избавиться от угнетавшего ее чувства, она позвонила фон Гайеру на склад Германского папиросного концерна, но застала только Лихтенфельда, который ответил, что не видел шефа после полудня. Пока она ела в столовой, коротая время в пустой болтовне с Виктором Ефимовичем – о жаркой погоде и достопримечательностях города. – пришел генерал запаса, которого накануне приглашал Костов. Генерал не мог быть у них вечером и теперь пришел, чтобы извиниться и засвидетельствовать свое почтение.

Ирина провела его на веранду и велела Виктору Ефимовичу принести туда сливовую и салат из маринованных огурчиков, до которых генерал был большой охотник. Это был обходительный и говорливый мужчина, щуплый и смуглый, с небольшими, тронутыми проседью усиками. Его краснобайство никого не увлекало и не тяготило, а просто помогало незаметно убить время. После разговора с ним собеседники чувствовали себя слегка утомленными – как после посещения прохладной и нешумной кофейни. Но сейчас Ирина была рада его приходу.

– Где мужчины? – спросил он, когда они расположились на веранде.

– Уехали с утра но делам.

– Это не совсем любезно по отношению к вам, – сказал гость, рассеянно поглядывая па сливовую и огурчики. – Я пришел сообщить вам кое-какие неприятные новости.

– Неприятные?… Какие же?

– Положение весьма скверное. – объяснил генерал, закурив одну из тех пяти сигарет, которые врачи разрешали ему выкуривать после обеда.

– Мы давно это знаем, – сказала Ирина.

– Да, но сейчас события надвигаются неудержимо! Русские на Днестре, а недели через две, возможно, будут в Софии.

– Так скоро? – с досадой отозвалась Ирина. Она вспомнила об обещании фон Гайера попросить у Фришмута катер и быстро спросила: – Что слышно о боевой тревоге на побережье?

– Ничего, – ответил генерал. – Отбой.

– А почему ее объявляли?

– Не могу понять, в чем дело. Немцы молчат как рыбы.

– Но держатся любезно?

– Не больше, чем всегда. Неужели вам приходилось встречать любезного немца?

– Сегодня фон Гайер обещал достать катер и свозить меня на Тасос.

Генерал вытаращил на нее глаза, изумленный таким безрассудством.

– Что?… – произнес он наконец. – На Тасос?

– Да… А потом – в Салоники.

– Но это безумие! – воскликнул он. – Настоящее безумие!.. Надеюсь, вы откажетесь от этой затеи. Я еще месяц тому назад отправил семью в Болгарию. Вы не представляете себе, как здесь опасно. Греки подняли голову и могут перерезать всех нас в любую минуту.

– Попросим защиты у Кондояниса.

Ирина рассмеялась, но генерал не понял шутки и запальчиво продолжал:

– Бросьте вы этого грека! Красные андарты повесят и его. Такой войны еще никогда не было. Положение сейчас совершенно исключительное. Очень тревожное… Необычайно скверное.

– А что намерены делать вы?

– Я?… Я купил дочери квартиру, дал сыну образование. С меня довольно! У меня нет денег, чтобы бежать за границу. Я мелкая сошка, да и старик – кто меня тронет? К грекам я относился хорошо, и совесть моя чиста… Пусть другие почешут в затылке.

– Но до войны вы были военным атташе в Берлине, – ехидно заметила Ирина.

– Ну и что же? – несколько обиженно спросил генерал. – А *вы* знаете, какой доклад я подал военному министерству? Еще за три года до войны я писал, что если немцы нападут на Россию, то это кончится для них катастрофой. Я говорил об этом и Гаммсрштейну, который потом впал у Гитлера в немилость.

Генерал не был уверен, доказывает ли все это его политическую благонадежность, но видно было, что он говорит правду.

– Вам хорошо, – сказала Ирина, глядя па темнеющий вдали силуэт острова. – Как-никак это все же заслуга, А моему мужу нечем похвастаться.

– Он чересчур увлекался, – сочувственно проговорил генерал. – Сколько раз я ему советовал не иметь дела с политиканами и быть поосторожней с забастовщиками… Что он думает делать со своим табаком?

– Не знаю, – равнодушно ответила Ирина. – Меня это не интересует.

– Как так «не интересует»? – укоризненным топом спросил генерал.

Он привык по всем важным вопросам советоваться с женой. Это она его надоумила заняться торговлей табаком.

– Я ничего не понимаю в торговле, – объяснила Ирина.

Она мельком взглянула на гостя и по напряженному выражению его лица поняла, что он пришел не поболтать, а просить о какой-то услуге. Как и большинство офицеров, он не умел хитрить.

– Ходят слухи, что ваш супруг собирается продать свои запасы табака Кондоянису, – осторожно намекнул генерал.

– Вздор! Вряд ли в этом есть хоть капля правды.

– Вчера Кондоянис ужинал у вас.

– Кто вам сказал?

– Лихтенфельд.

– Обычный визит вежливости, – рассеянно объяснила Ирина. – Впрочем, вы тоже были приглашены, но не пришли.

– У меня был неприятный разговор с компапьопом.

– Кто ваш компаньон?

– Простой мужик, – ответил генерал и беспомощно вздохнул. – Когда-то служил у вас… некто Баташский.

– Я о нем слышала.

– А сейчас он нос задрал – не подступись к пому!

– Почему же вы сто не бросите?

– Он хороший техник, а я ничего не понимаю в табаке.

Генерал выпил сливовой и уставился куда-то вдаль.

С моря дул легкий прохладный ветерок. Солнце клонилось к закату. Рыбацкая лодка с надутым парусом лениво приближалась к берегу.

– Это неплохо, если верно. Почему бы и нет? – произнес генерал, возвращаясь к слухам о сделке с Кондоянисом. – Пусть выплывет хоть один человек.

– Вы уже передали свой табак Германскому папиросному концерну? – осведомилась Ирина.

– На днях передам все.

– Значит, у вас тут забот больше нет?

– Не было бы… – вздохнул генерал. – Но мы закупили пятьдесят тысяч килограммов сверх обусловленного для Германского папиросного концерна количества – и просчитались. Надеялись, что подзаработаем немножко после перемирия, когда на табак будет спрос. Кто бы мог подумать, что события примут такой оборот!

– Предложите эту партию фон Гайеру, – сказала Ирина. – Германский папиросный концерн купит ее немедленно.

– На что мне бумажные деньги? – огорченно вздохнул генерал.

Ирина в душе потешалась над гостем. Под натиском своей энергичной супруги генерал пристроился к пиршеству хищников, а сейчас, увязнув по уши, не знал, как унести ноги.

– Куда вы думаете девать этот табак? – спросила Ирина.

– Вот по этому-то вопросу я и пришел посоветоваться с вашим супругом, – ответил генерал. – Если они с Кондоянисом действительно заключают крупную сделку, то он сумел бы втиснуть и мою небольшую партию. Скажите, ведь сумел бы, правда? – В голосе генерала звучало волнение. – В конце концов, дело идет о том, чтобы оказать услугу честному… заслуженному болгарину.

В красноватом свете заката нa пиджаке генерала выделялись многочисленные орденские ленточки, которые он носил отчасти из тщеславия, отчасти для того, чтобы внушать уважение администрации Беломорья. Он всегда был вот таким приятным и безобидным болтуном, а в отношениях с Германским папиросным концерном никогда не докатывался до измены родине. Однако нечто незримое пятнало его честь, принижало его и превращало из заслуженного и награжденного орденами генерала в обыкновенного плута-торгаша. Должно быть, это была его привычка выставлять напоказ свои ордена всякий раз, когда «мужик Баташский» посылал его вести переговоры о какой-нибудь очередной махинации. Его честь, как и честь тысяч других людей, пятнал все тот же табак.

Генерал ушел, когда уже совсем стемнело и на небе замерцали бледные звезды, подернутые молочной дымкой. Ирина уклончиво пообещала ему свою поддержку. Немного погодя позвонил по телефону фон Гайер. Он сообщил, что Фришмут согласен дать катер, так что завтра они могут поехать на остров. Договорились встретиться утром прямо на пристани. Борис и Костов все не возвращались, и Ирина, поужинав в одиночестве, приняла хинин и погрузилась в чтение детективного романа. С некоторых пор она читала только детективы – другие книги уже не увлекали ее. Не раздеваясь, она задремала па кушетке в ожидании мужчин, которых надо было предупредить о том, что завтра с утра она вместе с фон Гайером отправится на остров. Борис и Костов вернулись к полуночи, уставшие от поездки на автомобиле в соседний городок, где «Никотиана» обрабатывала двести тысяч килограммов табака сверх партии, приготовленной для Германского папиросного концерна, не считая других трехсот тысяч килограммов, которые обрабатывались в Кавалле.

Ирина спала и видела сон, запутанный и бессмысленный, как все сны, но пронизанный щемящей тоской по ушедшей юности. И вот сои внезапно оборвался, уступив место противному хриплому реву. Проснувшись, она поняла, что это протяяшые гудки автомобиля – Костов сигналил Виктору Ефимовичу, чтобы тот открыл большие железные ворота и пропустил машину в гараж. Лежа на кушетке, Ирина старалась удержать грустное очарование своего сна, продолжавшегося всего несколько секунд. Но оно исчезло почти мгновенно, и, как всегда, остались только нудная, холодная тоска и раздражение па тот больной и пресыщенный мир, который ее окружал и теперь жил в предчувствии своей гибели. Она слышала, как Костов ввел машину в гараж. Потом – как он вместе с Борисом вошел в столовую и как наконец Виктор Ефимович подал им ужин.

Ирина встала, небрежно поправила волосы и спустилась к мужчинам. Теперь, когда волнующий сон отлетел, ее лицо приняло обычное любезное и равнодушное выражение.

– Закончили дела? – спросила она.

– Нет еще, – ответил Борис – Но все идет как нельзя лучше.

По его громкому и самоуверенному голосу она поняла, что к ночи он, как всегда, успел изрядно напиться, но против обыкновения был в хорошем расположении духа. Вместе с ним и Костовым ездил и Кондояпис, чтобы осмотреть табак, и сделка, вероятно, была уже заключена.

– Когда же ты покончишь со всеми делами? – раздраженно спросила Ирина.

– Терпение, милая, терпение! – Борис погладил ее по руке, пытаясь быть нежным, но движение получилось только слащавым. – Мне нужно еще несколько дней, чтобы проверить свои расчеты, а потом мы поедем в Салоники осмотреть фабрику и подписать договор.

– Да, но я не намерена жариться здесь. – Она повернулась к Костову: – В вашем доме, как в печке! Кажется, тут и клопы водятся.

– Да, здесь жарко, – равнодушно согласился эксперт, – Но клопы – плод вашего воображения! Налить вам вина?

– Нет, – ответила Ирина.

Костов налил себе стакан вина, проклиная угрожающий ему приступ грудной жабы – расплату за удовольствие.

– Надо будет развлечь вас чем-нибудь, – сказал он, нащупывая в кармане коробочку с нитроглицериновыми пилюлями.

– Я уже сама позаботилась об этом, – отозвалась Ирина. – Завтра еду на остров.

– С кем? – спросил эксперт.

– С фон Гайером.

Наступило молчание, предвещавшее бурю. Костов пожелал супругам спокойной ночи и поспешил уйти из столовой.

– А фон Гайер почему увязался за тобой? – хмуро спросил Борис.

– Ты опять за свое! Я не могу ехать на остров одна. Кто-то должен меня проводить.

И она рассмеялась. Теперь она всегда была с ним дерзкой и циничной и не хотела его обманывать, а только старалась избежать скандала.

– Не позволю! – грубо отрезал Борис.

– Но отказаться сейчас было бы глупо и невежливо. Я сама попросила фон Гайера взять у Фришмута катер.

– Не позволю! – дико завопил Борис, угрожающе вскакивая со стула. – Я не позволю делать из меня посмешище на глазах служащих… Вся София уже говорит о твоем поведении. Мало тебе того, что ты три года была его любовницей?

Но Ирина холодно осадила его словами:

– Кстати, по твоему поручению.

Болезненная судорога, как от удара кнутом, пробежала по обезображенному яростью лицу Бориса. Ирина, глядя на пего в упор, безжалостно рассмеялась, хотя и знала, что он до сих пор испытывает к ней чувство, приковавшее его к ней еще в тот далекий день, когда он впервые поцеловал ее у часовни. За все годы его могущества у него не было другой женщины. Но чувство это было искалечено его алчностью и дважды попрано им самим ради «Никотианы». И потому Ирина не испытывала к нему ни капли жалости и только холодно наблюдала, как он кривится от боли, как его измученный и жадный взгляд пытается найти в ней то, что навсегда ушло из их жизни. Вспышка гнева и душевная боль истощили его силы, он грохнулся на стул и хрипло прошептал, словно говоря самому себе:

– Не пущу… Будь что будет… Устрою скандал на улице… на самой пристани…

Взбешенная его угрозой, Ирина бросила злобно:

– Попробуй! Только тогда тебе не придется больше бегать за Кондоянисом.

– Что? – взревел Борис, теряя самообладание. – Значит, запугивать меня думаешь?

– Я только предупреждаю тебя.

– О чем? Что меня арестует гестапо?

– Не тебя, а Кондояниса.

Бориса это немного удивило – спьяну он не сразу сообразил.

– Ты хочешь сорвать нашу сделку, – отупело пробормотал он.

– Это ты ее сорвешь, если учинишь скандал, понятно? Именно сейчас надо отвлечь внимание фон Гайера от Кондояниса.

В мутных глазах Бориса мелькнул проблеск понимания.

– А-а! – протянул он. – Ты хочешь сказать, что будешь действовать, как и раньше?

– Нет, не так, как раньше! – гневно воскликнула Ирина. – Теперь фон Гайер мне правится. Я только хочу сказать, что твои интересы совпадают с моим желанием.

– Вот как? – прохрипел Борис.

В глазах его блуждала тупая беспомощная растерянность. Затуманенный алкоголем рассудок работал медленно и неуверенно. Ирина подумала, что даже сейчас, когда Борис походит на одинокою обессилевшего хищника, алчность его снова восторжествует над чувством к единственной женщине, которую он любил. Даже в этот миг. когда его терзали страхи и он топил в алкоголе страшные воспоминания о своих преступлениях, когда предчувствовал свою гибель и нуждался в помощи близкого человека. – даже теперь перед ним неотступно стоял золотой призрак «Никотианы», искалечившей ему жизнь. По так только казалось – замедленная восприимчивость пьяиипы была обманчива. На самом деле Борис понял, что «Никотиана» увлекла его на дно пропасти, спохватился, осознал свое страшное одиночество в мире, где правит только один закон – закон прибыли. У него не было ни семьи, ни близких. В ею опустошенной, отравленной табаком душе не было места для человеческих чувств, свойственных простым людям. Он отринул больную жену, почти забыл родителей, свел в могилу брата, продал любовницу, притеснял, запугивал, унижал сотни людей, обрекал на хронический голод тысячи рабочих. Он был одним из тех подлинных властителей, которые вот уже много лет управляли страной. Все ему подчинялись, но никто его не побил. И вот теперь основы мира, который вознес его на вершину. могущества, пошатнулись. Угнетенные готовились к решительному удару, и надвигался всеобщий крах, который грозил смести и «Никотиану». Будущее рисовалось Борису в смутном и неясном свете, оно сулило только страхи, бездействие, неврастению, против которых оставалось единственное средство – алкоголь, а он неминуемо должен был привести к безумию и гибели. Никогда, никогда в жизни Борис так не тосковал по близкой живой душе, которая любила бы его и спасала от невыносимого одиночества! Близкой душой для пего могла быть только Ирина. Вся «Никотиана» и все его успехи ничего не стоили по сравнению с этой женщиной. Впервые в жизни он понял, в чем его ошибка. Но жизнь его была разбита, искалечена, и признание своих ошибок уже потеряло всякий смысл. Даже запоздалый, мрачный порыв его внезапно пробудившейся. любви был осквернен эгоизмом – чувством, которое всегда руководило Борисом. Секундой позже он уже не кричал, а ревел в исступлении:

– Вот как?… Вот что ты задумала, гадина? Собралась, значит, прогуляться с любовником па остров. Но я не позволю, слышишь?… Не позволю тебе и шагу ступить отсюда!.. К чертям Кондояниса… и сделку… и Германский папиросный концерн… и гестапо!.. Ничего я не боюсь.

И он несколько раз прокричал во весь голос:

– Ничего!.. Ничего!..

Неужели это Борис?… Вначале Ирина приняла его слова за яростные выкрики пьяного, но скоро поняла, что пришел тот долгожданный миг, о котором она мечтала столько лет. Наконец-то в нем проснулось что-то человеческое – проснулась любовь, хоть и обезображенная эгоизмом, хоть и явившаяся в личине разрушительной животной ревности. Наконец он понял, что она, Ирина, дороже и «Никотианы», и сделок, и фон Гайера, и Германского папиросного концерна!.. Ирина слегка разволновалась, почувствовала гордость, злорадство, но только не радость. Теперь победа не имела для нее никакой цены… Двенадцать лет бесчестной, напряженной жизни превратили Бориса в развалину, а сердце Ирины было опустошено алчностью, сладострастием и ложью. Табак отравил их обоих!.. На что ей была сейчас его любовь?… Только швейцарские франки, доллары и гульдены, которые он перевел в заграничные банки, еще могли принести ей какую-то пользу. С другой стороны, и перспектива таскаться повсюду с одряхлевшим, ревнивым и больным неврастенией мужем тоже была не слишком приятна. Впрочем, она могла и просто-напросто бросить его, как ненужную вещь. За последние годы она скопила себе целое состояние: драгоценности, швейцарские франки, доллары и гульдены. Таким образом, Борис стал для нее лишним, настолько лишним, что его можно было отшвырнуть хоть сейчас.

– Не кричи! – проговорила Ирина вполголоса. – Я завтра же уеду в Софию.

– Чтобы там развратничать? Так, что ли?

– Нет, – ответила она. – Чтобы потребовать развода.

– Что? – вскричал Борис сорвавшимся голосом. – Развода? – Его мутные глаза широко раскрылись, а тело содрогалось от пьяного смеха. – Славную сделку ты придумала, мошенница!.. Иск о возмещении убытков и требование обеспечения, а?

– Дурак! – оборвала она его с презрением. – Мне не нужны твои деньги.

– Неужели ты думаешь, что я соглашусь?

– На что?

– На развод.

– Меня не интересует, согласишься ты пли нет. Я уйду от тебя потому, что ты мне опротивел… Мне осточертел твой невыносимый характер, твое пьянство и твои скандалы… Что бы ни решил суд, я не останусь под одной крышей с тобой.

Она смотрела на него спокойно и невозмутимо, защищенная броней своего цветущего здоровья, о котором тщательно заботилась, и крепких нервов, которые не мог расстроить никакой скандал. Ее карие глаза светились насмешливым злорадством – словно она наслаждалась, видя мужа разбитым и униженным. Теперь, в расцвете сил и во всем блеске своей красоты, она была более привлекательна, чем когда-либо. Ее иссиня-черные волосы были густыми и пышными, кожа – гладкой, как слоновая кость, движения – изящными и по-кошачьи гибкими. На всем ее облике лежала печать самодовольства, свойственного женщинам, которые живут лишь собой и для себя. Она стала красивым и совершенным произведением того мира, в котором человек поднимается за счет ограбления других. И, глядя на нее, Борис понял, что ее ничем не проймешь и что как раз теперь, когда она ему так нужна, он потерял над него всякую власть.

А еще он понял, что сам много лет подряд толкал Ирину на этот путь, и впервые со времен своей нищей юности почувствовал гнетущую безысходность. Надо было или развестись и жить без нее, или терпеть ее любовников. Первое казалось ему невозможным, а второе приводило его в ярость. Сейчас он гордился совершенной красотой Ирины, она воспламеняла его угасающие силы, она спасала его от приступов неврастении. Сейчас Ирина стала ему необходима, и потому надо было выполнять все ее прихоти, надо было отступить. И он отступил – подло, робко и смиренно, как безвольный человек, попавший в безвыходное положение, как слизняк, который заползает в свою раковину. Он умолк и, как больное отупевшее животное, уставился куда-то в пространство.

– Незачем поднимать скандал, – сказала Ирина. – Завтра я еду в Софию.

– Никакого скандала не будет. Можешь ехать на свой остров.

Борис налил себе еще рюмку коньяка, выпил ее и с бутылкой в руке поплелся в свою комнату. Ирина бросилась за ним и вырвала у него бутылку.

– Ты что? – удивился он и засмеялся беззвучным пьяным смехом.

– Тебе опасно пить.

– Почему это тебя беспокоит?

– Почему?… Кое-какие человеческие чувства еще связывают нас друг с другом.

– Ладно, – сказал Борис, понимая с грустью, что Ирина отнимает у него бутылку лишь ради собственного спокойствия. – Ладно, давай проявим эти чувства!..

– Хорошо. – Она снисходительно усмехнулась. – Ты теперь понял, как мы должны относиться друг к другу?

– Да, понял.

Голос его прозвучал как-то бесцветно.

– Спокойной ночи, – сказала Ирина.

По пути в свою комнату она постучала к Костову. Дверь приоткрылась, и на пороге появился эксперт, уже переодевшийся в шелковую пижаму.

– Наворковались? – спросил он сонным голосом.

– Да, – сухо ответила Ирина. – Хотите поехать со мной завтра на остров?

– Но ведь вы едете с фон Гайером?

– Мне нужно, чтобы поехали и вы.

– Неужели вам все еще необходима ширма? Мне это уже надоело! Завтра я собирался отдыхать.

– Тогда я беру свою просьбу назад. Спокойной ночи.

Ирина быстро пошла по коридору к себе, а эксперт сердито крикнул ей вслед:

– Поеду, черт побери! Разве я могу вам отказать?

Вернувшись в свою комнату, Ирина почувствовала себя усталой, но только от жары – ссора с Борисом ничуть не взволновала ее. Она умела отгонять угрызения совести, душевную боль и гнев. Она знала, что Борис пил целый день и теперь наверняка опять взялся за бутылку, знала, что это может кончиться для него плохо, но не хотела и пальце. «пошевельнуть, чтобы ему помешать. Теперь Борис казался ей каким-то далеким, чужим и, пожалуй, несчастным человеком, который все глубже увязает в грязи своего падения, идя к неминуемой гибели. Стоило ли спасать его?… Ей хватало забот о своем собственном душевном состоянии, ее тревожили лень, скука и тоска, эти признаки усталости духа, не способного ни радоваться, ни волноваться. Она пресытилась миром, в котором жила, а стать выше его у нее уже не было сил.

Улегшись в постель, она закурила сигарету и, раздумывая о предстоящей поездке на остров, тщетно пыталась найти в фон Гайере что-нибудь новое, что-нибудь такое, что согрело бы ее остывшую душу. Но это ей не удалось. Немец давно надоел ей. Он как был, так и остался каким-то средневековым призраком, неизменным и скучным фантазером. Сегодня она просто внушила себе, что он сможет взволновать ее, как прежде.

В открытое окно веяло теплой сыростью, а за сеткой бесновались тучи комаров.

Ирина потушила сигарету и задула свечу. Южную ночь пронизывали какие-то тоскливые звуки. Неведомо откуда доносились тихие, невнятные шумы. Одинокий выстрел разорвал тишину, послышался топот подкованных сапог по мостовой, приглушенный рев мотора, и снова все смолкло.

**IX**

Катер отчалил, сопровождаемый насмешливыми взглядами болгарских портовых чиновников, которые с ненасытностью сплетников наблюдали, как красавица жена господина генерального директора «Никотианы» отправилась па остров без мужа в компании двух мужчин. Все знали, что директор «Никотианы» сильно сдал и от жены его не следует, да и нельзя ждать супружеской верности. Катер был просто спортивной моторной лодкой, конфискованной немцами у каких-то богатых греков, а экипаж его состоял из двух немецких матросов – семнадцатилетних юнцов.

Ирина оглянулась. В заливе, спокойном, как озеро, отражались табачные склады. С моря город казался огромной грудой белых камней, рассыпанных у подножия венецианской крепости. Утренний воздух был чист и прозрачен, солнце светило ярко, но еще не пекло. Море поглощало жару. Фон Гайер задумчиво смотрел на остров, а Костов старался так примоститься на сиденье, чтобы не смять своп белые брюки.

– Катер будет ждать пас? – спросила Ирина.

– Нет, – ответил немец. – Он необходим комендатуре.

– Тогда предупредите матросов. Костов хочет вернуться в город завтра вечером.

Это означало, что Ирина готова задержаться на острове, и фон Гайер взволновался. Но его удручало, что в их прогулке есть что-то нехорошее. Фришмут слегка поморщился, выслушав просьбу дать катер, а служащие Германского папиросного концерна были удивлены легкомыслием своего шефа, который вздумал развлекаться в такое время. Фрейлейн Дитрих отправила две шифрованные телеграммы в свое управление в Софию, и телеграммы эти сулили ненужные и бессмысленные неприятности из-за Кондояниса. Интендантский полковник упирался, не зная, можно ли разрешить частной фирме пользоваться военными грузовиками. Но. несмотря на эти заботы, фон Гайер не мог отделаться от грустного и сладостного предчувствия надвигающегося хаоса, близкой гибели и сознания того, что эти дни – последние. Солнце, синева неба и яркая красота Ирины придавали его мыслям оттенок щемящей меланхолии, печали и страсти, смягчавший контраст между жизнью и смертью. Он подумал, что жизнь и смерть не что иное, как различные формы вечно существующего германского духа. И, остроумно разделавшись с грозным призраком смерти, фон Гайер успокоился.

Катер миновал мол и теперь, плавно подымаясь и опускаясь, бороздил невысокие сине-зеленые волны. Холмы за Каваллой и Сарышабанской низменностью медленно уходили вдаль, а остров приближался. Из далекого и таинственного силуэта, выступающего над синей бездной, он постепенно превращался в беспорядочно разбросанные горные цепи, сбегающие крутыми склонами к морю. Все четче выделялись вершины гор, долины и белые песчаные отмели, над которыми поднималась пышная зелень сосновых и оливковых рощ, залитых ослепительным солнечным светом.

Это было красиво, но не могло развеять въедливую скуку, одолевавшую Ирину со вчерашнего вечера. Ее охватило незаметное для других чувство досады на все окружающее, и от этого потускнели яркие краски южного пейзажа, а прогулка на остров превратилась в тягостную обязанность, нарушившую ленивый покой. Она снова подумала, что фон Гайер не даст ей ничего нового. Под своеобразной яркостью его характера зияла, как и у нее самой, бел жизненная пустота изношенной души. Их возродившийся роман, думала Ирина, окончится дрожью отвращения, взаимными колкостями, скрываемым из вежливости презрением, подобным тому, какое он питал к навязчивым жен шинам, а она – к опостылевшим ей снобам и светским львам. Ничего нового, ничего нового!.. Мир, в котором она жила, иссушил ее. Все было изжито, испытано, вычерпано. Оставалось только сладострастие, делавшее ее неразборчивой и дерзкой.

Ирина поняла это, когда взгляд ее упал на юного матроса, сидевшего за рулем. У него было молодое, нежное тело, зеленые глаза и розовые щеки – ни дать ни взять девушка, переодетая в матросскую форму. Моряк покраснел от смущения. И тогда Ирина пожелала его тайно и хладнокровно, охваченная темным вожделением развратницы, но тут же рассудила, что с ним нельзя сойтись, не рискуя собственной репутацией.

Она закурила и спросила раздраженно:

– А приличная гостиница, на острове есть?

– Нет, – ответил эксперт. – Все они кишат клопами. Но я отведу вас к своей приятельнице Кристалло.

– Что за особа эта Кристалло?

– Афродита, свергнутая с Олимпа… Женщина без предрассудков и покровительница влюбленных.

– Другими словами – сводница?

– О нет! Вы и понятия не имеете о греческой утонченности. Дом ее ничуть не похож па публичный.

– Я предпочитаю гостиницу с клопами.

Постов промолчал. По его лицу пробежала гримаса, вызванная знакомой болью в сердце и левой руке. Это был легкий приступ болезни, мстительно карающей за участие в пиршестве жизни, за сотни роскошных обедов и ужинов, за тысячи сигарет и тысячи рюмок алкоголя. Та же болезнь, но отягощенная другими прегрешениями, унесла в могилу папашу Пьера, она же грозила фон Гайеру и Борису. Казалось, болезнь была возмездием, в которое воплотился гнев тысяч рабочих, корпевших за жалкие гроши над золотыми листьями табака. Немного погодя Постов поднял голову. Приступ грудной жабы прошел, но па лбу его еще блестели мелкие капельки пота. Он с усталой улыбкой взглянул на Ирину, словно прося ее не беспокоиться.

– Простите меня! – сказала она. – Я должна была подумать о том. что солнце и жара для вас опасны.

Но эксперт только махнул рукой и усмехнулся, словно приступы болезни *уже* не имели для него значения.

Фон Гайер пересел к рулевому л о чем-то с ним разговаривал. Он не слушал или не хотел слушать, о чем говорили между собой по-болгарски Ирина и Костов.

Ирина перегнулась за борт. Вода была яркого изумрудного цвета. Лучи солнца причудливо играли па белом мраморном песке, устилавшем дно. а над его сверкающей белизной плыли прозрачные малахитово-зеленые медузы. Но вдруг вода стала темной и непроглядной – дна уже не было видно. Катер плыл над чащей водорослей, кишевших иглокожими и моллюсками, которых волны в бурю выбрасывали па пляжи. Увлеченная подводным миром, Ирина забыла про своих спутников. Она думала, что в этих примитивных формах жизни, в отсутствии сознательности этих существ есть что-то заманчивое. Ее охватило глупое желание превратиться в медузу, но она тут же поняла, что эта ребяческая выдумка – лишь попытка бежать от мертвого мира людей, которые ее окружают.

Катер плыл теперь вдоль скалистых мраморных берегов, поросших соснами и инжиром, но вскоре, обогнув небольшой мыс, вошел в Лименскую бухту. На пристани собралась толпа греков и болгарских чиновников, привлеченных появлением катера. Кое-кто из греков низко кланялся, обнажив голову. И здесь серебристые седины Костова и его щедрые чаевые вызывали, как и всюду, всеобщее опереточное поклонение.

– Где вы надумали остановиться? – спросил Костов.

– Не у Кристалло! – сердито отрезала Ирина.

– Воля ваша, – сказал эксперт. – Потом сами придете к пей.

Носильщик понес чемоданы Ирины и фон Гайера в ближайшую гостиницу, а Костов направился к небольшой таверне на пристани, чтобы заказать обед.

С обстоятельностью гурмана он выкладывал из корзинки привезенные из Каваллы продукты и подробно растолковывал содержателю таверны, как и что нужно приготовить, а тот стоял рядом, серьезный и озабоченный, и все кивал головой, стараясь не упустить пи слова из наставлений богатого и щедрого клиента. Заказав обед, Костов направился к Кристалло, у которой собирался умыться холодной колодезной водой и переменить смятые во время поездки на катере белые брюки – запасные он привез с собой в чемодане. Но на этот раз, изнуренный жарой и раздраженный всем на свете, он готовился к переодеванию вяло и равнодушно, понимая, как бессмысленна его привычка переодеваться несколько раз в день.

Он подумал, что в его возрасте франтовство уже унизительно. Ему захотелось махнуть рукой на переодевание, потому что это была извращенная комедиантская привычка, наследие тех времен, когда папаша Пьер старался ослеплять всех роскошью богатого выскочки и заставлял Костова подражать ему, чтобы производить впечатление на иностранцев, приезжавших покупать у «Никотианы» табак. По той же причине Костов овладел мастерством устраивать званые обеды и ужины. То было своего рода лакейство, без которого в торговле не обойтись. С течением времени эта привычка стала второй натурой владельца «Никотианы» и его главного эксперта; позже она обратилась в суетность и наконец – в манию. Папаша Пьер тоже имел громадный гардероб и усвоил клоунскую манеру то и дело переодеваться, словно пятно на одежде или смятая складка могли навести на мысль о нечистой его жизни.

Перебрав все это в уме, Костов решил не переодеваться, но не из раскаяния, а от безразличия – какого-то невозмутимого, спокойного и ровного безразличия, которое за тридцать лет бессмысленной жизни постепенно наслаивалось в его душе и теперь, когда неизбежный конец был близок, тяготило, по не мучило его.

Он пересек маленькую площадь, расположенную за набережной и окруженную кофейнями и ресторанчиками, и пошел по узким уличкам городка. Домики здесь были старые, с тонкими, легкими стенами и утопали в зелени олив, гранатовых деревьев и смоковниц. Из садиков тянуло прохладой, а тишина их навевала сонное спокойствие. Но яркая синева неба и субтропический блеск солнца на буйной зелени создавали резкий раздражающий контраст между светом и тенью.

Разморенный жарой, эксперт медленно брел по улице и время от времени бросал рассеянный взгляд на маленькую рыжую девочку, которая бежала вприпрыжку впереди, таща на поводу козленка: казалось, что она боится шагающего за ней иностранца. Но козочка то и дело останавливалась, блеяла и упиралась. Наконец Костов поравнялся с ними и равнодушно прошел бы мимо, если бы девочка не взглянула на него блестящими, синими, как сапфир, глазами.

Это были печальные, измученные голодом глаза… Девочке, вероятно, не исполнилось и девяти лет. Она была тоненькая, как кузнечик, а ее длинное рваное платьице было надето прямо на голое тщедушное тельце, проглядывавшее сквозь дыры. Должно быть, она страдала малярией или туберкулезом – личико у нее было желтое. В Кавалле Костов каждый день проходил мимо десятков и сотен таких детей. Он равнодушно прошел бы и мимо этой девочки, но в ней было нечто особенное, что заставило его остановиться. Остановился он неожиданно для самого себя, невольно, вопреки своему обыкновению избегать неприятного зрелища бедности и страданий. И он даже почувствовал легкое приятное волнение, словно перед ним была не сама действительность, а пастораль, идиллическая картина, изображающая девочку с козочкой. В Кавалле неприглядная нагота человеческого горя пробуждала у Костова угрызения совести, здесь она была смягчена дикой прелестью острова. На нежном л пне девочки лежала печать древней, тысячелетней красоты – волосы у нее были бронзово-рыжие, а в глазах цвета морской воды переливалась какая-то необыкновенная прозрачная синева. Испуганная неожиданным вниманием незнакомца, девочка изо всех сил потянула козочку, словно собираясь от него убежать. Костов сказал ей по-гречески:

– Осторожней! Ты ее задушишь.

Девочка испуганно посмотрела па него.

– Ты куда идешь? – спросил он ласково.

Она не ответила, будто онемев от страха. Глаза ее смотрели недоверчиво.

– Где ты живешь? – Костов погладил ее но голове.

– У Геракли. – промолвила она.

– А он где живет?

– Там!

Худая ручонка показала куда-то в конец улицы.

– Ты меня проводишь к Геракли?

Этот вопрос неожиданно привел девочку в смятение. Она потащила за собой козочку и сказала громко, словно повторяя заученное:

– Геракли сейчас нет дома! Он ушел на работу и запер дверь.

Постов нагнал ее.

– Как тебя зовут? – спросил он.

– Аликс.

– Да ну? Имя у тебя неплохое, В школу ходишь?

– Нет.

– А хлеб у вас есть?

Девочка взглянула на него с недоверием и тоскливым любопытством.

– Нету хлеба! – быстро ответила она.

– Это плохо, – сказа.! эксперт. – Но козочка, наверное, дает молоко?

– Она еще маленькая! – Девочка внезапно рассмеялась, потешаясь над глупостью старого господина, не знающего, что маленькие козочки молока не дают. – Ты грек? – спросила она.

– Нет, не грек.

– А кто же ты? – Я болгарин.

В глазах у девочки загорелся враждебный огонек.

– Значит, у тебя есть хлеб! – проговорила она, помолчав.

– Да.

Костова покоробило, словно девочка плюнула ему в лицо.

– Ты мне *^ю* дашь хлебца? – робко попросила она.

– Ладно. Дам.

– А не обманешь? Ты это не нарочно?

– Нет, не обману.

– Когда же ты мне дашь хлеб?

– Приходи к обеду на пристань. В таверну Аристидеса.

– Аристидес меня прогонит.

– Я скажу ему, чтобы он тебя не трогал.

Девочка озабоченно поморщилась, как взрослый человек, который неожиданно вспомнил о каком-то новом препятствии.

– Что? Ты не веришь?

– К обеду меня будет трясти, – сказала она.

– Так у тебя лихорадка? А лекарства ты принимаешь?

Аликс виновато взглянула па него. Костов подумал, что девочка его не понимает.

– Когда тебя трясет, разве тебе не дают чего-нибудь проглотить? – объяснил он.

– Геракли дает мне водку, но меня от нее тошнит, – ответила девочка.

Костова передернуло. Кто бы стал покупать на черном рынке хинин для Аликс, если даже за хлеб приходилось платить бешеные деньги! Ведь тысячи греческих детей болели, как и она. Каждый день видел Костов этих детей в Кавалле, по их страдания не трогали его. Сидя в своей американской машине, он проносился мимо них, а щедрость его по отношению к грекам, среди которых он вращался, ограждала его от жалоб. Но сейчас болезнь, голод и попранное право этих маленьких существ на жизнь пронзили ему сердце, он дрогнул от волнения, которое пробудили в нем синие глаза и бронзово-рыжие волосы Аликс.

Костов молча шагал за ребенком. На улицах не было ни души. Стояла полная тишина. Лишь откуда-то издалека долетали звуки флейты – кто-то играл старинную греческую мелодию, которая замирала в знойной лазури над зеркальной гладью залива, теряясь на берегу в густых ветвях розмарина, гранатовых деревьев и смоковниц. Волнение Костова все возрастало. Что-то сразу же разогнало досадливое чувство, с которым он ехал на остров. Он был глубоко потрясен осунувшимся от голода личиком Аликс, однако жалость не только не мучила его, но благотворно влияла на его душу, отгоняя, равнодушие и навязчивое желание поскорее сменить измятые в дороге белые брюки. Сердце его преисполнилось нежностью. Никогда в жизни он не испытывал более странного и волнующего чувства сострадания, более глубокой готовности помочь другому человеку. Но он не понимал и не мог понять, как запятнан эгоизмом его порыв, как бессмысленно и никчемно помогать одной только Аликс за красоту ее синих глаз и бронзово-рыжих волос, если в Кавалле он равнодушно проходил мимо обезображенных болезнью, озлобленных детей, которые рылись в мусоре в надежде отыскать черствую корочку хлеба. Он не понимал и не мог понять, что, в сущности, хотел помочь не Аликс, а самому себе.

Когда они подошли к перекрестку, Аликс внезапно свернула в сторону.

– Постой! – крикнул ей Костов. – Пойдем, я тебя накормлю.

– Куда? – спросила девочка.

– К Кристалло.

– Кристалло меня тоже прогонит, – сказала Аликс.

– Почему?

Девочка по ответила. Она думала о своем грязном и рваном платьице, которое отпугивало сытых и хорошо одетых женщин, опасавшихся набраться вшей.

– Не бойся, не прогонит, – успокоил ее Костов.

Он взял Аликс за руку и пошел рядом с нею, а она потянула за собой козочку.

– А ты меня не обидишь? – вдруг спросила Аликс.

– Как же я могу тебя обидеть?

– Не побьешь меня?

– Нет, не побью, – ответил Костов, потрясенный. И он нежно сжал исхудавшую ручонку.

Кристалло была крупная пятидесятилетняя женщина с густо напудренным лицом и ярко накрашенными малиновыми губами. Черты лица у нее были классические, античные, но содержатели публичных домов в Афинах бессовестно выжали из ее красоты все, что могли, и от красавицы осталась лишь жалкая развалина, подобная руинам древнего храма. Высоким ростом, замысловатой прической и золотыми серьгами она напоминала женские фигуры в произведениях византийской живописи, а многолетнее общение с мужчинами сделало ее философом. Война застала ее па острове в обществе некоего пожилого торговца оливковым маслом, который однажды ночью умер у нее в доме от удара, и ей не удалось вернуться в Афины из-за придирок немецких комендатур. Теперь она была хорошо обеспеченной женщиной, и единственное, чего она требовала от людей, хоть и не вполне обоснованно, – это чтобы ее уважали. Ведь именно уважения ей недоставало всю жизнь.

Кристалло обрадовалась Костову, но при виде Аликс недовольно нахмурилась. Костов был вежливый и обходительный квартирант, который ценил чистоту, спокойствие, прохладную комнату и любил выпить рюмку анисовки в тени оливы, росшей во дворе. Но Кристалло была большим знатоком мужской извращенности и поэтому, увидев Аликс, первым делом спросила сердито:

– Где ты подобрал этого паршивого котенка?

– На улице, – ответил эксперт, привязывая козочку к оливе.

– Зачем ты привел ее?

– Чтобы ее накормить.

– А потом?

– Потом видно будет.

Привязав козочку, Костов погладил девочку по голове и устало присел за столик под оливой. Лицо у него было потное, утомленное, глаза ввалились. Кристалло испытующе всматривалась в него своими темными левантинскими глазами. Природный ум, обостренный житейским опытом, помог ей сразу же верно оценить положение. Она так часто сталкивалась с пороками, что научилась безошибочно отличать добрые побуждения. Покачав головой, она сказала в раздумье:

– Понимаю! Ты пожалел ее.

– А ты что подумала?

– Ничего особенного.

– Ты знаешь эту девочку?

– Да, – ответила гречанка. – Она вечно голодная и ходит попрошайничать.

– Это ужасно!..

– Здесь это обыкновенное дело.

– Где ее родители?

– Родителей нет. Мать убежала с каким-то матросом, а отец убит на итальянском фронте.

– А у кого она теперь живет?

– У своего дяди.

– Геракли?

– Да, Геракли.

– Что он за человек?

– Пьяница и лодырь.

– Надо будет поговорить с ним.

– Только неприятности наживешь. Он скандалист и ненавидит болгар.

Кристалло поправила свою замысловатую прическу и села на стул против Костова. На руке у нее красовался браслет из литого золота – свидетельство благосостояния и добропорядочности, которое давало понять мужчинам, что владелица браслета больше не намерена разменивать свои любезности на деньги.

– Что же ты собираешься с ней делать? – спросила она.

– Еще не решил. Может быть, возьму ее с собой.

Глаза у Костова блестели от лихорадочного возбуждения, а голос звучал глухо, словно шел из пустоты – пустоты тридцати бессмысленно растраченных суетных лет.

Кристалло на это не отозвалась. Удивить ее было трудно. Подул ветер, и листья оливы тихо зашелестели. Откуда-то донеслись звуки флейты – старинная, грустная мелодия струилась серебряными переливами в прозрачном воздухе. Такую мелодию, наверное, можно было услышать в древнегреческом театре. Кристалло подумала: «Пожилой мужчина и маленькая девчушка… Да, подобные встречи иной раз оканчиваются удочерением. Пройдет десяток лет. и эта сорока, пожалуй, превратится в красивую, элегантную барышню». Однако во всей этой истории было что-то неладное. Решение Костова казалось ей слишком поспешным. Она поглядывала то на Костова, то на Аликс, пытаясь представить себе, как они станут жить вместе.

– А ты что думаешь по этому поводу? – спросил эксперт.

– Мне кажется, что ты чересчур торопишься… Сначала помоги ей, а потом уже думай об удочерении.

– Но я хочу взять ее с собой.

– Ах да! Тогда Геракли с тебя две шкуры сдерет.

– Я готов заплатить ему, сколько он запросит.

– Не спеши! Незачем торопиться! Не показывай Геракли, что Аликс тебя интересует. Достаточно будет сказать, что ты берешь ее в служанки.

– А ты не могла бы мне помочь?

– Чем?

– Пойти вместе со мной к Геракли.

– Это уж совсем неразумно… Он подумает, что это я присмотрела для тебя Аликс, и заломит громадную цену.

Костов задумался. Гречанка была права.

– Не найдется ли у тебя какого-нибудь платьишка для девочки? – внезапно спросил он.

– Откуда мне его взять? – Кристалло недовольно поморщилась, потом подумала и сказала: – Постой! Попробую перешить из своего старья. Но если ты решил везти ее в Каваллу, то там ты сможешь купить ей кое-что у Клонариса – он одно время спекулировал детской одеждой. Скажи, что это я направила тебя к нему.

Она быстро встала и взяла Аликс за руку.

– Микро!60

1 Околия – единица административно-территориального деления в Болгарии, соответствующая району.

2 *Царвули* – крестьянская обувь из сыромятной кожи.

3 *Ракия –* сливовая или виноградная водка.

4 *Налимы* – деревянная обувь.

5 Имеется в виду Сентябрьское антифашистское восстание 1923 г. в Болгарии, которое было жестоко подавлено реакционным правительством А. Цанкова.

6 *Истифчия –* рабочий на табачном складе, наблюдающий за ферментацией табака.

7 *Моникс –* настольная игра

8 *Белот* – карточная игра.

9 *Гювеч* – национальное блюдо из тушеных овощей.

10 *Истифчибашия* – мастер на табачном складе, под руководством которого проводится ферментация табака.

11 *Баклава* – сладкий слоеный пирог с орехами.

12…*с «тесняцких» времен* – то есть со временя до 1919 г. Болгарская социал-демократическая партия в 1903 г. разделилась на так называемых «широких социалистов», стоявших на позициях, близких меньшевикам, и на «тесных» социалистов, близких большевикам и положивших в Болгарии начало революционной марксистской партии рабочею класса. В мае 1919 г. партия «тесных» социалистов была преобразована в Болгарскую коммунистическую партию.

13 *«Закон о защите государства» –* фашистский закон, принятый в январе 1924 г. и направленный против революционного и антифашистского движения в Болгарии. На его основании была запрещена БКП, преследовались прогрессивные деятели. Впоследствии закон дополнялся еще более суровыми статьями. Нарушение его каралось тюремным заключением, а по отдельным статьям выносились и смертные приговоры.

14 *Ремсист* – член Союза рабочей молодежи (РМС), созданного в Болгарии в 1928 г. как легальная форма Болгарского союза коммунистической молодежи.

15 *Заграничное бюро ЦК БКП* – высший партийный орган, руководивший деятельностью партии за пределами страны с 1923 по 1944 г. На Заграничное бюро возлагалось общеполитическое и идеологическое руководство партией, редактирование партийного органа – журнала «Коммунистическое знамя». Деятельное участие в работе Заграничного бюро принимали Г. Димитров и В. Кодеров.

16 *Обработка «широким пасталом»* – ручной способ об работки и сортировки табачных листьев. При этом не требуется специальных машин, и его обработкой занято значительное число рабочих.

17 *Базар* – рабочее место мастера.

18 *Капак* – крышка. Тюки из листьев обкладывали со всех сторон пасталы, чтобы при погрузке и разгрузке защитить листья более высокого качества.

19 «Домашний журнал для дам» – английский иллюстрированный журнал.

20 *Чамкория* – после 1942 г. Боровец – горный курорт у северного подножия горного массива Рила в семидесяти километрах от Софии.

21 *Тонга* – более простая и дешевая по сравнению с ручной механизированная обработка табака. Она применяется, когда табак доставляется прямо на фабрику. При этом сокращаются сроки ферментации и соответственно время, когда табачники заняты на производстве, что приводит к значительному уменьшению их заработков.

22 Гражданин Рима *(лат.).*

23 *Госпожица –* барышня; обращение к незамужней женщине в буржуазной Болгарин.

24 *Ротарианцы* – члены местного клуба деловых людей.

25 *«Вратство»* – одна из реакционных студенческих организации.

26 *«Земледельческий союз»* – полное название: Болгарский земледельческий народный союз – политическая организация крестьян, созданная в конце XIX века и существующая до настоящего времени как демократическая партия, сотрудничающая с БКП. В 30-е годы руководство Земледельческого союза было в руках реакционеров, хотя рядовые члены его нередко выступали вместе с коммунистами.

27 Корпорации *«Крум», «Кардам»* и *«Тервел»* – реакционные националистические организации, в рамках которых власти стремились объединить молодежь.

28 Деловой человек *(франц.).*

29 Кэ д'Орсэ – набережная в Париже, на которой находится здание французского министерства иностранных дел.

30 Генеральная табачная компания *(франц.).*

31 Национально-освободительное движение против османского господства. Возникло оно в конце XIX века и велось в форме партизанской борьбы. *Четник* – боец четы (отряда).

32 *Кмет –* городской голова, сельский староста.

33 *Стамболийский Александр (1879–1923) –* видный деятель крестьянского революционного движения в Болгарин, лидер Земледельческого союза. В 1920–1923 гг. возглавлял самостоятельное правительство земледельцев. Был зверски убит реакционной кликой А. Цанкова.

34 Недоля *(нем.).*

35 Господин капитан *(нем.).*

36 *Ока –* старая турецкая мера веса, равная 1282 граммам, употреблялась в Болгарии до конца XIX века.

37 *Декар –* мера площади, равная 0,1 гектара.

38 *Пера* – европейская часть Стамбула.

39 Вздор!.. *(нем.)*

40 *«Отец Паисий»* – буржуазная националистическая организация.

41 *Рабочая партия* – легальная организация Болгарской коммунистической партии, существовавшая с 1927 по 1939 г., а затем объединившаяся с БКП.

42 *Воза* – слабоалкогольный напиток из просяной или ржаной муки.

43 Ребекка! Иди сюда! *(исп.)*

44 Ребекка, иди сюда, жена! *(исп.)*

45 Что такое? *(исп.)*

46 Останься здесь! *(исп.)*

47 *«Этуаль»* – модное кабаре в центре старой Софии.

48 *Сукман* – женская крестьянская одежда из домотканого сукна.

49 Положение скверное! Очень скверное! *(франц.)*

50 Имеется в виду Богдан Филов – реакционный политический деятель, который с 1940 по 1943 г. возглавлял болгарское правительство и проводил прогитлеровскую политику; внутри страны жестоко преследовал участников антифашистского движения.

51 Господин генеральный директор *(нем.).*

52 ЭАМ – Национально-освободительный фронт в Греции.

53 *Смирненский Христо (1898–1923)* – выдающийся болгарский революционный поэт.

54 Хлеба!.. *(новогреч.)*

55 Имеются в виду националистические банды, под видом борьбы с оккупантами сотрудничавшие с гитлеровцами и наносившие предательские удары отрядам греческих партизан (красных андартов).

56 Василий II (976 – 1025) – византийский император, приказавший ослепить 15 тысяч болгар, взятых в плен. За свою жестокость был прозван Болгаробойцей.

57 Тыквенные семечки *(новогреч.).*

58 Большие пирожные *(новогреч.).*

59 *Помаки* – болгары-мусульмане.

60 Малышка! *(новогреч.*